

Синклер Льюис



Нобелевская
премия

У нас это невозможно

[роман]



XX век – The Best

Синклер Льюис

У нас это невозможно

«АСТ»

1935

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Льюис С.

У нас это невозможно / С. Льюис — «АСТ», 1935 — (XX век — The Best)

ISBN 978-5-17-103525-9

Роман «У нас это невозможно» – классическое произведение в жанре альтернативной истории и одновременно сильный и мрачный роман-предупреждение о том, что фашизм, если позволить ему поднять голову, может наступить в любой стране. Честолюбивый политик приходит к власти, используя самые низменные инстинкты простого народа, изображая себя защитником традиционных ценностей и обещая вернуть стране былую мощь. И очень скоро уютная, по-хорошему провинциальная и консервативная «одноэтажная Америка» 1930-х превращается в диктатуру, где преследуют всякое инакомыслие, уничтожают под корень свободную прессу, а противников режима вынуждают эмигрировать или бросают за решетку...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-103525-9

© Льюис С., 1935

© АСТ, 1935

Содержание

I	6
II	13
III	18
IV	22
V	27
VI	33
VII	36
VIII	43
IX	48
X	53
XI	57
XII	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Синклер Льюис

У нас это невозможно

Sinclair Lewis

IT CAN'T HAPPEN HERE

© Sinclair Lewis, 1935

© Renewed, Michael Lewis, 1963

© Перевод, стихи. Н.И. Сидемон-Эристави, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

I

Парадная столовая отеля «Уэссекс», с позолоченными панелями и стенной росписью в виде горных ландшафтов, была заказана для обеда с участием дам, устроенного Ротарианским клубом Форта Бьюла.

Здесь, в Вермонте, все это проходило не столь колоритно, как где-нибудь в прериях Запада. Но, разумеется, были и свои забавные номера: очень развеселили всех Медэри Кол (мукомольная мельница и продуктовая лавка) и Луи Ротенстерн (ремонт одежды, утюжка и чистка), объявившие, что они и есть те самые исторические вермонтцы – Брайхэм Янг и Джо-зеф Смит; их шутки по поводу своего воображаемого многоженства были рассчитаны на то, чтобы подразнить дам. Но в целом вечер носил серьезный характер. В Америке после семи лет депрессии, начавшейся в 1929 году, все носило серьезный характер. После мировой войны 1914–1918 годов прошло достаточно времени, чтобы молодежь, родившаяся в 1917-м, созрела для учебы в университете... или же для участия в новой войне, в сущности, в любой войне, какая окажется подходящей.

Этот вечер был устроен ротарианцами вовсе не для забавы. С патриотической речью к собравшимся обратился бригадный генерал в отставке Герберт Эджуэйс, сердито развивавший тему «Мир через оборону. Миллионы – на вооружение. Ни цента на контрибуцию», – а потом выступила миссис Аделаида Тарр-Гиммич, прославившаяся не столько своей смелой антисуффражистской кампанией, сколько своим остроумным способом удерживать во время мировой войны американских солдат от посещения французских кафе – путем посылки на фронт десяти тысяч комплектов домино.

Ни один патриот, болеющий за интересы общества, не мог пренебрежительно отнестись к ее недавнему, не получившему, правда, достаточной поддержки предложению охранять чистоту американской семьи путем устранения из кинематографической промышленности всех лиц – актеров, директоров или кинооператоров, – которые: а) были хоть раз разведены, б) родились в чужой стране – исключая Великобританию, поскольку миссис Гиммич была очень высокого мнения о королеве Марии, – или в) уклонялись от принесения присяги на верность флагу, конституции, Библии и другим чисто американским святыням.

Ежегодный обед с участием дам являл собой весьма респектабельное зрелище: был представлен весь цвет общества Форта Бьюла. Почти все дамы и большинство мужчин блистали вечерними туалетами, и ходили слухи, что до начала торжества избранный круг гостей в строго секретном порядке угощался коктейлями в 289-м номере того же отеля. На столах, расположенных по трем сторонам просторного помещения, горели свечи, сверкали хрустальные блюда со сладостями и поджаренным миндалем; столы были уставлены статуэтками Микки-Мауса, бронзовыми ротарианскими колесами и маленькими шелковыми американскими флажками, воткнутыми в позолоченные крутые яйца. Одну из стен украшал плакат «Общественный долг – превыше всего!», а меню обеда – сельдерей, суп-пюре из томатов, жареная рыба, куриные крокеты, горошек и различные сорта мороженого – являло лучшие образцы кухни отеля «Уэссекс».

Все слушали, разинув рот. Генерал Эджуэйс заканчивал свою мужественную, но весьма туманную речь о национализме:

– ...ибо Соединенные Штаты – единственная страна среди великих держав, которая не стремится к завоеваниям. Самое большое наше желание – это чтобы нас наконец оставили, черт побери, в покое! С Европой нас связывает по-настоящему лишь одно: мы в поте лица воспитываем грубые, невежественные толпы, которые Европе заблагорассудилось прислать к нам, мы поднимаем их до уровня, хоть сколько-нибудь приближающегося к американской культуре и благонравию. Но, как я уже указывал, мы должны быть готовы к защите наших берегов от

всевозможных шаек иностранных бандитов, именующих себя «правительствами», которые с алчной завистью взирают на наши неистощимые рудники, наши высоченные леса, наши гигантские роскошные города и наши прекрасные, необозримые поля.

Впервые в мировой истории великая нация должна все больше и больше вооружаться не для завоеваний, не из чувства зависти и недоброжелательства, не для войны, а для мира! Дай бог, чтобы оружие нам никогда не понадобилось, но если другие народы не отнесутся с должным вниманием к нашим предостережениям, то, как в известном мифе о посеянных в землю зубах дракона, на каждом квадратном футе земли Соединенных Штатов, которую с таким трудом возделывали и защищали наши предки-пионеры, вырастет вооруженный до зубов бесстрашный воин; так уподобимся же нашим перепоясанным мечами предкам, не то мы погибнем!

Обрушилась буря аплодисментов. Инспектор школ «профессор» Эмиль Штаубмейер вскочил с места и заорал: «Да здравствует генерал! Гип-гип-ура!»

На лицах всех присутствующих, обращенных к генералу и мистеру Штаубмейеру, заиграли улыбки, — на лицах всех, кроме двух-трех чудачек пацифисток и некоего Дормэса Джессэпа, издателя выходившей в Форте Бьюла газеты «Дейли Информер», о котором поговаривали, что он парень ничего себе, только малость циник. Джессэп наклонился к своему другу, преподающему мистеру Фоку, и прошептал:

— Нашим предкам-пионерам досталась не бог весть какая важная работа — ковыряться на участке аризонской земли в несколько квадратных футов!

Блистательной вершиной названного обеда явилась речь миссис Аделаиды Тарр-Гиммич, которую по всей стране звали «девушкой наших йонки»¹, потому что во время мировой войны она называла парней из экспедиционных войск — «нашими йонки». Она не только посылала солдатам на фронт домино, ее первоначальный замысел был гораздо смелее. Она хотела снабдить каждого фронтовика канарейкой в клетке. Подумать только, ведь это так бы скрасило их одиночество, и они бы вспоминали родимый дом, матерей! Милая маленькая канарейка! И как знать, а вдруг их удалось бы приучить искать вшей?!

Воодушевленная своей идеей, миссис Тарр-Гиммич проникла к самому начальнику интендантского управления, но этот напыщенный, тупоголовый чиновник отказал ей (вернее, отказал беднягам, тоскующим в грязи окопов), трусливо пробормотав какую-то ерунду: у него, мол, нет транспортных средств для канареек. Говорят, глаза ее метали искры, когда она посмотрела в лицо этому чинуше — ни дать ни взять Жанна д'Арк в пенсне — и сказала ему несколько теплых слов, которых он никогда не забудет!

В те славные времена женщины действительно имели возможность проявить себя. У них была возможность посылать на фронт своих мужчин или чужих мужчин — все равно. Миссис Гиммич называла каждого солдата, которого ей случалось повстречать, «дорогим своим сыночком», а уж она, бывало, не пропустит ни одного, кто только отважится приблизиться к ней на расстояние двух кварталов. Рассказывали, что однажды она приветствовала таким образом капитана военно-морских сил, произведенного в офицеры из рядовых, и тот ответил ей: «У нас, дорогих сыночков, мамаш сейчас хоть отбавляй. Я лично предпочел бы иметь побольше любовниц». Рассказывали, что она отчитывала его за это ровно час семнадцать минут по наручным часам капитана, позволяя себе передышку лишь для того, чтобы откашляться.

Впрочем, заслуги ее перед обществом не ограничивались доисторической эпохой. Еще совсем недавно, в 1935-м, она взялась за чистку кинофильмов, а до этого выступала в качестве сторонницы «сухого закона», а потом стала его противницей. В 1932 году (когда миссис Гиммич было навязано право голоса) она состояла членом республиканской комиссии и ежедневно посылала президенту Гуверу длиннейшие телеграммы, содержавшие всевозможные советы.

¹ Вместо «янки».

Кроме того, будучи сама, к несчастью, бездетной, она являлась признанным лектором и автором книг по вопросам воспитания детей, и ее перу принадлежит целый том детских стихов, включающий такие бессмертные строки:

Мячики уснули, – пусть их не тревожат,
Ну, а шарики – те спят прямо у их ножек².

Но неизменно, будь то 1917 или 1936 год, она была ревностным членом ДАР – общества «Дочери американской революции».

ДАР (размышлял в этот вечер циник Дормэс Джессэп) – это довольно крупная организация, такая же путаная, как теософия, теория относительности или фокусы индусских факиров. И все они в чем-то схожи. Организация эта состоит из женщин, тратящих одну половину своего времени на то, чтобы хвастаться своим происхождением от свободолюбивых американских колонистов 1776 года, а вторую, чтобы яростно нападать на своих современников, исповедующих именно те принципы, за которые боролись эти колонисты.

ДАР (размышлял Дормэс) стала такой же непогрешимой, такой же не подлежащей критике организацией, как католическая церковь или Армия спасения. С той, однако, разницей, что всякого разумного человека она заставляет хохотать до упаду, ибо умудрилась стать такой же смешной, как недоброй памяти Ку-клукс-клан, причем ей даже не понадобилось для этого напяливать, подобно членам КKK, дурацкие колпаки и ночные рубашки.

Таким образом, занималась ли миссис Аделаида Тарр-Гиммич укреплением морали воинов, старалась ли убедить литовские хоровые общества начинать программу своих выступлений с гимна «Колумбия – жемчужина океана», она всегда и везде неизменно оставалась верной ДАР; это подтверждало и ее выступление на обеде ротарианцев Форта Бьюла в описываемый нами чудесный майский вечер.

То была невысокая полная женщина со вздернутым носом. Ее пышные седые волосы (ей было шестьдесят – столько же, сколько и скептику Дормэсу Джессэпу) выбивались из-под девически моложавой соломенной шляпки с мягкими полями; одета она была в платье из набивного шелка, на шее – громадная нитка хрустальных бус; на пышной груди красовалась окруженная ландышами орхидея. Ее рапировало от благосклонности ко всем присутствующим мужчинам; она трепетала перед ними и ласкалась к ним и голосом, нежным, как флейта, и сладким, как шоколадная подливка, распевала о том, «как вы, мальчики, можете помочь нам, девочкам».

Женщины, говорила она, не сумели использовать предоставленное им право голоса. Если б только Соединенные Штаты послушались ее в 1919 году, она бы избавила их от всех неприятностей³. Нет! И еще раз нет! Никаких избирательных прав! Женщина должна занять свое привычное место в семье, и – как сказал великий писатель и ученый мистер Артур Брисбейн – «если женщина и должна что-либо делать, так это родить шестерых детей».

Тут речь миссис Гиммич была прервана самым наглым, возмутительным образом.

Это сделала некая Лоринда Пайк, вдова небезызвестного унитарийского проповедника, владелица загородного пансиона под названием «Таверна долины Бьюла», моложавая женщина с обманчивой внешностью Мадонны, со спокойными глазами и мягкими каштановыми волосами, разделенными посредине пробором; голос у нее был нежный, и она часто смеялась. Но, когда она выступала с трибуны, голос ее гремел, как медь, а глаза яростно горели. Ее считали озорницей и сумасбродкой. Она постоянно вмешивалась в дела, которые ее вовсе не касались, и на городских собраниях всегда все критиковала, обсуждался ли вопрос о тарифах электри-

² Перевод стихов здесь и далее Н. И. Сидемон-Эристава.

³ В 1919 году после многолетней борьбы передовой общественности американским женщинам были предоставлены избирательные права.

ческой компании, о жалованье школьным учителям или же о деятельности ассоциации духовных лиц по изъятию из публичных библиотек аморальных книг. И сейчас, когда все должно было проходить под знаком Умиротворения и Дисциплины, миссис Лоринда Пайк нарушила идиллию, насмешливо бросив:

– Да здравствует Брисбейн! Но что, если какой-либо бедняжке не удастся подцепить мужа?! Как ей быть тогда? Родить своих шестерых детей вне брака?

Тогда Риммич, этот старый боевой конь, ветеран сотни кампаний против красных ниспровергателей, отважно ринулась в схватку:

– Милая моя! Если бедняжка, как вы сказали, обладает настоящим очарованием и женственностью, ей не придется «ловить» мужа... Она найдет их целую шеренгу у своего порога. (Смех и аплодисменты.)

Грубьянка Пайк только разожгла благородную страсть миссис Гиммич. Она больше не ластилась к своим слушателям, она рванулась в бой:

– Да, друзья мои, беда нашей страны в том, что у нас так много эгоистов! У нас сто двадцать миллионов населения, и девяносто пять процентов думает только о себе, вместо того чтобы дружно взяться и помочь разумным деловым людям возродить процветание! А все эти продажные и своекорыстные профсоюзы! Жадные стяжатели! Они только и думают о том, как бы вырвать побольше зарплату у несчастных предпринимателей, на которых падает все бремя ответственности!

Наша страна больше всего нуждается в дисциплине! Мир – это великая мечта, но зачастую не более чем мечта!

По-моему... возможно, мои слова поразят вас, но я прошу вас выслушать женщину, которая скажет вам неприкрашенную, суровую правду, а не сентиментально-сладкий вздор... По-моему, чтобы научиться Дисциплине, нам нужно снова пережить настоящую войну! Не надо нам всей этой интеллектуальности, всей этой книжной учености! Может быть, все это в своем роде и хорошо, но не является ли это, в сущности, приятной игрушкой для взрослых? Нет, что нам всем действительно нужно, если только наша великая страна хочет сохранить свое высокое положение в конгрессе народов, – это Дисциплина... Сила воли... Характер!

Затем она с кокетливой улыбкой обратилась к генералу Эджуэйсу:

– Вы говорили нам о том, как обеспечить мир, но, генерал... между нами – ротарианцами и ротарианками – признайтесь-ка по чести! Вы, человек с большим опытом, не думаете ли вы, честно, положав руку на сердце, что может быть... что вполне возможно... когда страна помещалась на деньгах, как все наши профсоюзы и рабочие с их пропагандой повышения подоходного налога, означающей, что бережливым и усердным придется содержать неумелых и никчемных, что, может быть, война была бы неплохим средством, – чтобы спасти их пропащие души и внедрить в них хоть каплю железного мужества? Скажите же нам ваше настоящее, сокровенное мнение, мон генераль!

Она села с драматическим видом, и звуки хлопков наполнили комнату, как туча пушистых перьев. Собрание бушевало:

– А ну-ка, генерал! К ответу! Скажите ваше мнение! Примите вызов, генерал!

Генерал был низенький и кругленький; его красное лицо, гладкое, словно задок ребенка, украшали очки в золотой оправе. Но он по-военному фыркал и мужественно смеялся.

– Что ж, ладно! – захохотал он, поднимаясь и дружески грозя пальцем миссис Гиммич. – Если вы все твердо решили выведать секрет у бедного солдата, то лучше я уж признаюсь: хотя я ненавижу войну, но есть вещи и похуже. Ах, друзья мои, гораздо хуже! Это – состояние так называемого «мира», когда рабочие организации заражены, словно чумными микробами, безумными идеями анархической красной России! Состояние «мира», когда университетские профессора, журналисты и видные писатели тайно распространяют все те же возмутительные обвинения против Великой старой конституции! Состояние «мира», когда одурманенный этим

духовным ядом народ стал слабохарактерным, трусливым, жадным, не знающим воинской гордости! Нет, такой «мир» гораздо хуже самой ужасной войны!

Боюсь, что, судя по моему предыдущему выступлению, в котором я ограничился общезвестными истинами, вы могли счесть меня за «старую шляпу», как было принято у нас выражаться, когда моя бригада стояла в Англии.

Я сказал, например, что Соединенные Штаты стремятся только к миру и не хотят впутаться ни в какие иностранные дела. Но нет! Чего мне действительно хочется, так это чтобы мы выступили и сказали всему миру: «Вот что, ребята, – никаких оглядок на мораль! Мы – сила, а сильный всегда прав!»

Я вовсе не восхищаюсь всем, что произошло в Германии и Италии, но мы должны признать, что у них оказалось достаточно честности и здравого смысла, чтобы сказать другим народам: «Занимайтесь своими собственными делами, понятно?» Мы обладаем силой и волей, а всякий обладающий этими божественными качествами не только вправе, но и обязан их использовать! Никто во всем мире никогда не любил слабых... да и слабые сами себя не любят!

А теперь я могу сообщить вам хорошие новости! Проповедь неприкрытой наступательной силы очень быстро распространяется в нашей стране среди лучших представителей молодежи. В настоящий момент лишь семь процентов высших учебных заведений еще не ввели у себя военного обучения с такой же строжайшей дисциплиной, как у наци, причем если раньше это навязывалось сверху, то теперь здоровые молодые мужчины и женщины сами заявляют о своем праве овладевать военным искусством... и заметьте себе, девушки, обучающиеся уходу за больными, изготовлению противогазов и тому подобного, не уступают в рвении и усердии своим братьям. И все действительно мыслящие профессора всецело их поддерживают!

Ведь еще совсем недавно, не более как три года назад, удручающий процент наших студентов составляли крикуны пацифисты, готовые из-за угла вонзить нож в спину родной стране. А теперь, когда эти потерявшие стыд безумцы и защитники коммунизма пытаются устраивать пацифистские митинги... Друзья мои, за последние пять месяцев, начиная с января, мы имели семьдесят шесть случаев, когда подобные возмутительные оргии разгонялись самими же студентами, причем пятьдесят девять красных предателей-студентов получили по заслугам: их избили так основательно, что больше им уж никогда не поднять в нашей свободной стране окровавленное знамя анархии!

Вот это, друзья мои, радостные новости!

Когда генерал уселся, среди шумных изъявлений восторга, миссис Лоринда Пайк, эта неугомонная смутьянка, вскочила и снова нарушила пир любви:

– Послушайте, мистер Эджуэйс, если вы думаете, что после всего этого садистского бреда вы можете...

Ей не удалось продолжить, так как Фрэнсис Тэзброу – владелец каменоломни, самый крупный промышленник в Форте Бьюла – величественно поднялся, остановил Лоринду, протянув к ней руку, и прогремел своим внушительным басом:

– Минуточку, сударыня! Мы все, местные жители, привыкли к вашим политическим взглядам. Но как председатель я вынужден напомнить вам, что генерал Эджуэйс и миссис Гиммич были приглашены нашим обществом выступить на этом собрании с речами, в то время как вы, простите меня, не состоите даже в родстве с кем-либо из членов общества и присутствуете здесь только как гость преподобного Фока, весьма всеми нами почитаемого. Так что, с вашего позволения... Благодарю вас, сударыня!

Лоринда Пайк шлепнулась на свое место, по-прежнему горя возмущением, мистер же Фрэнсис Тэзброу отнюдь не шлепнулся: он уселся торжественно, как архиепископ Кентерберийский на свой архиепископский трон.

Тогда, чтобы внести успокоение в умы, поднялся Дормэс Джессэп; он был близким другом Лоринды и, кроме того, с раннего детства считался приятелем Фрэнсиса Тэзброу, которого не выносил.

Дормэс Джессэп, редактор и издатель газеты «Дейли Информер», хотя и был вполне солидным деловым человеком и автором передовиц, не лишенных остроумия и свойственной Новой Англии практичности, считался в Форте Бьюла первым оригиналом. Член школьного и библиотечного советов, он представлял слушателям таких людей, как Освальд Гаррисон Виллард, Норман Томас и адмирал Бэрд, когда они приезжали в город читать лекции.

Джессэп был невысокий худощавый мужчина, с улыбающимся загорелым лицом, небольшими седыми усами и небольшой холеной седой бородкой – и это в обществе, где носить бороду означало идти на то, чтобы тебя сочли либо деревенщиной, либо ветераном Гражданской войны, либо адвентистом седьмого дня. Недруги Дормэса говорили, что он носит бороду из желания быть «оригинальным», слыть «интеллектуалом» и иметь «артистическую внешность». Возможно, они были правы. Итак, он вскочил с места и заговорил примирительным тоном:

– Ну зачем волноваться? Мой друг миссис Пайк должна бы знать, что свобода слова превращается в недопустимое своеволие, едва дело доходит до того, чтобы критиковать армию, не соглашаться с ДАР и защищать права плебса. Поэтому, я думаю, Лоринда, вам следует извиниться перед генералом, которому мы все должны быть благодарны за то, что он разъяснил нам, чего, в сущности, хотят наши правящие классы. Не откладывайте, друг мой... Встаньте и принесите ваши извинения.

Он смотрел на Лоринду очень строго, но Медэри Кол, президент ротарианского общества, заподозрил, что Джессэп их мистифицирует. Известно было, что он на это способен. Да, так оно и есть. Впрочем... нет, он, должно быть, ошибся, потому что миссис Лоринда Пайк тут же (не вставая) произнесла:

– О да! Простите, генерал! Благодарю вас за вашу откровенную речь!

Генерал поднял свою пухлую руку (на его пальцах, похожих на сосиски, красовались масонское кольцо и кольцо военной академии), поклонился с достоинством рыцаря Галахеда или метрдотеля и прогремел, как на плац-параде:

– Ничего, ничего, сударыня! Мы, старые служаки, не возражаем против хорошей стычки. Мы даже рады, когда наши глупые идеи так хватают людей за живое, что они на нас обижаются, ха-ха-ха!

Все рассмеялись, и снова воцарился мир и лад. В заключение программы Луи Ротенстерн спел несколько патриотических песенок: «Поход через Джорджию», «Старый лагерь», «Дикси», «Старый черный Джо» и «Я лишь бедный ковбой».

Луи Ротенстерн в Форте Бьюла все считали «хорошим парнем», что являлось лишь рангом ниже «настоящего джентльмена» прежних времен. Дормэс Джессэп охотно ходил с ним на рыбалку и охотился на куропаток; он полагал, что ни один портной с Пятой авеню не мог бы с большим вкусом сшить костюм из полосатой индийской материи, чем Луи. Но Луи был джингоистом и ура-патриотом. Он говорил, и довольно часто, что это не он и даже не его отец родился в гетто в прусской Польше, а его дед (Дормэс подозревал, что фамилия этого деда была не такой благородной и нордической, как Ротенстерн). Карманными идолами Луи были Кэлвин Кулидж, Леонард Вуд, Дуайт Муди и адмирал Дьюи («Дьюи был уроженцем Вермонта», – радовался Луи, сам увидевший свет во Флэтбуше, на Лонг-Айленде).

Мало сказать, что он был стопроцентным американцем, – на этот основной капитал следовало накинуть еще сорок процентов шовинизма. При всяком удобном случае он говорил: «Мы не должны пускать всех этих иностранцев в нашу страну – я имею в виду, конечно, евреев, итальяшек, венгров и китайцев». Луи был глубоко убежден, что если бы невежественные политики не вмешивались в такие дела, как банки, биржа, рабочий день продавцов универсальных

магазинов и пр., то это значительно подняло бы деловой оборот в стране и было бы выгодно решительно всем, и все (включая розничных торговцев) разбогатели бы, как Ага-хан.

И Луи исполнял эти песенки не только с пламенным усердием кантора откуда-нибудь из Быдгощи, но и со всем своим националистическим пылом, так что припев подхватывали все, в особенности миссис Аделаида Тарр-Гиммич, обладавшая знаменитым контральто, которому мог бы позавидовать вокзальный диктор.

Публика расходилась с обеда, шумно и весело прощаясь; Дормэс Джессэп шепнул своей жене Эмме, неустанной хлопотунье, спокойной, милой женщине, любившей вязанье, пасьянс и романы Кэтлин Норрис:

– Как по-твоему, очень неловко, что я так вмешался?

– Ах нет, Дормэс, ты поступил правильно. Я люблю Лоринду Пайк, не понимаю только, зачем это ей нужно так выставлять напоказ свои глупые социалистические идеи?

– Ну, ты известный консерватор! – сказал Дормэс. – Уж не собираешься ли ты пригласить к нам в гости этого сиамского слона Гиммич?

– Нет, не собираюсь, – ответила Эмма Джессэп.

Под конец, когда ротарианцы окончательно расселись по своим бесчисленным автомобилям, Фрэнсис Тэзброу пригласил к себе избранное общество мужчин, в том числе и Дормэса.

II

Дормэс Джессэп отвез жену домой и затем поехал вверх по Плэзент-хилл к Тэзброу; по дороге он размышлял об эпидемическом патриотизме генерала Эджуэйса. Но затем перестал думать и весь погрузился в созерцание прекрасных холмов, как всегда бывало с ним в течение пятидесяти трех (из шестидесяти) лет, что он прожил в Форте Бьюла, штат Вермонт.

Хотя Форт Бьюла и считался официально городом, он был, в сущности, благоустроенной деревней, с красными кирпичными домами под шиферными крышами, с немногочисленными нарядными новомодными бунгало, окрашенными в желтый или коричневый цвет, и старинными полировочными мастерскими. Промышленность была тут развита слабо: небольшая суконная фабрика, фабрика оконных рам и дверей, заводик, изготавливающий насосы. Гранит – основной местный продукт – добывали в каменоломнях в четырех милях от Форта Бьюла; в самом городе находились лишь контора да бедные лачуги рабочих с каменоломен. Население города превышало десять тысяч душ, приходившихся на двадцать тысяч тел, – пропорция явно завышенная.

В городе был только один (да и то весьма относительный) небоскреб – шестиэтажный дом Тэзброу, в котором помещались контора «Тэзброу и Скарлетт – гранитные каменоломни», контора зятя Дормэса, доктора медицины Фаулера Гринхилла и его компаньона, старого доктора Олмстэда, контора адвоката Мунго Киттерика, контора Гарри Киндермана – агента по продаже кленового сиропа и молочных продуктов, и еще тридцать-сорок заведений других захолустных самураев.

Город был сонный, уютный, город благополучия и твердых традиций, в нем по-прежнему чтили День благодарения, 4 июля, День памяти погибших, и 1 мая служило здесь поводом не для рабочих демонстраций, а для раздачи корзинок с цветами.

Был майский вечер 1936 года, луна только начала убывать. Дом Дормэса стоял на расстоянии мили от делового центра Форта Бьюла, на Плэзент-хилл, горном отроге, отделявшемся, словно протянутая рука, от темного массива горы Террор. Дормэс различал на склонах гор, сплошь покрытых канадской сосной, кленом и тополем, блестящие при свете луны горные луга; по мере того, как автомобиль взбирался на холм, ему стала видна протекавшая по лугам речка Этан-крик. Густые леса, вздымающиеся горные отроги, чистый, как родниковая вода, воздух, спокойные, обшитые досками дома, помнившие войну 1812 года и отрочество странствующих вермонтцев: «маленького великана» Стивена Дугласа, и Хирэма Пауэрса, и Тэддуса Стивенса, и Брайхэма Янга, и президента Честера Алана Артура⁴.

«Впрочем, нет... Пауэрс и Артур – это слабая пара, – размышлял Дормэс. – Но вот Дуглас, и Тэд Стивенс, и Брайхэм – это боевые кони... Интересно, даем ли мы теперь таких паладинов, как эти мощные, сердитые дьяволы прежних лет?.. Появляются сейчас такие как они в Новой Англии?.. Вообще в Америке? Или где-нибудь во всем мире? Ну и жилистый был народ! Сколько независимости! Делали, что хотели, думали, что хотели, и плевали на всех остальных. А наша молодежь... Летчики, конечно, обладают большой выдержкой. Физики – двадцатипятилетние доктора философии, расщепляющие неделимый атом, – это, разумеется, пионеры. Но в большинстве своем нынешние никчемные молодые люди... Они делают по семьдесят миль в час, но цели у них нет, у них не хватает воображения, чтобы захотеть чего-нибудь! Тронул рычажок – и вот тебе музыка. Прочитал юмористический фельетон – вот тебе и идеи, не нужен Шекспир, и Библия, и Веблен, и старый Билл Сэмнер. Молокососы! Вроде этого самодовольного щенка Мэлкома Тэзброу, что увивается за Сисси! А-а!

⁴ Имеется в виду война США с Англией в 1812–1814 годах.

А что, если, черт побери, это чучело гороховое генерал Эджуэйс и политическая Мэ Вест – Гиммич правы и все это военное кривлянье, а может, и бессмысленная война (чтоб завоевать никому не нужную жаркую страну) необходимы, чтобы влить немного энергии и злости в этих марионеток, наших детей?

Вздор! Такие холмы! Отвесные скалы... И этот воздух! Не нужны мне ни Котсуолд, ни Гарц, ни Скалистые горы! Дормэс Джессэп – патриот родных мест.

И я...»

– Дормэс, может быть, ты будешь ехать по правой стороне?... По крайней мере, на поворотах, – мягко заметила жена.

...Мглистая горная ложбина, на которую льет свет луна, окутанные туманной дымкой цветущие яблони и пышные ветви сирени на старом кусте возле развалин фермы, сгоревшей лет шестьдесят назад, а то и больше...

Мистер Фрэнсис Тэзброу являлся председателем, директором и главным владельцем фирмы «Тэзброу и Скарлетт – гранитные каменоломни», находившейся в Вест-Бьюла, в четырех милях от Форта. Он был богат, въедлив и постоянно не ладил с рабочими. Жил он в новом каменном доме георгианского стиля на Плэзент-хилл, неподалеку от Дормэса Джессэпа, и домашний бар у него был не менее роскошный, чем у какого-нибудь заведующего рекламным отделом автомобильной компании в Гросс-Пойнте. Дом его был не более типичен для Новой Англии, чем католические кварталы Бостона, и Фрэнк хвастал, что, хотя шесть поколений его предков жили в Новой Англии, сам он вовсе не ограниченный «янки», энергия и коммерческие способности у него, как у настоящего панамериканского дельца.

Тэзброу был высокого роста, с желтыми усами и однотонным, резким голосом. Сейчас ему было пятьдесят четыре года – на шесть лет меньше, чем Дормэсу Джессэпу; а когда ему было четыре года, Дормэс защищал его от последствий его скверной привычки лупить других малышей по голове чем попало – будь то палка, игрушечный вагончик, сумка для завтрака или лепешка коровьего помета.

В его домашнем баре собрались в этот вечер, после обеда ротарианцев, сам Фрэнк, Дормэс Джессэп, Медэри Кол – владелец мельницы, инспектор школ Эмиль Штаубмейер, Р. К. Краули – Роско Конклинг Краули, самый влиятельный банкир в Форте Бьюла, и сверх всякого ожидания духовник семьи Тэзброу епископальный священник, преподобный мистер Фок, со старческими и хрупкими, как фарфор, руками, с белыми и мягкими, как шелк, густыми волосами и бесплотным лицом, говорившим о добродетельной жизни. Мистер Фок происходил из старинного рода, ведшего свое начало еще от голландских колонистов; он учился в Эдинбурге и Оксфорде, а до этого окончил еще Общую богословскую семинарию в Нью-Йорке. Во всей долине Бьюла не было человека, за исключением Дормэса, кто бы больше, чем мистер Фок, ценил уединенную жизнь в горах.

Комната, отведенная под бар, была должным образом отделана и обставлена приглашенным из Нью-Йорка декоратором, молодым человеком, имевшим привычку стоять подбоченясь. В комнате была стойка из нержавеющей стали, иллюстрации из «*La Vie Parisienne*»⁵ в рамках, посеребренные металлические столики и хромированные алюминиевые стулья с красными кожаными сиденьями.

Все собравшиеся, за исключением самого Тэзброу, а также Медэри Кола (подхалима, для которого милости Фрэнка Тэзброу были чистым медом) и «профессора» Эмиля Штаубмейера, чувствовали себя в этой претенциозной, попугайской обстановке неуютно и неловко, но зато всем, включая мистера Фока, очень понравилась содовая с великолепным виски и сэндвичи с сардинами.

⁵ «Парижская жизнь» (фр.).

«А как бы отнесся к этому Тэд Стивенс, понравилось бы ему? – размышлял Дормэс. – Он бы зарычал, как затравленная рысь! Но, вероятно, он не возражал бы против виски».

– Дормэс, – обратился к нему Тэзброу, – почему вы не берете бокал? Все эти годы вы так много критиканствовали... всегда против правительства... никому не давали спуска... держались эдаким либералом, который при случае поддержит всех этих ниспровергателей. Пора уж вам бросить заигрывать с сумасбродными идеями и объединиться со всеми нами. Времена настали серьезные... около двадцати восьми миллионов на пособии... Это становится угрожающим – они воображают, что мы обязаны их содержать.

А еврейские коммунисты и еврейские финансисты, которые сговариваются, чтобы хозяйничать в стране! Я еще могу понять, когда вы в молодости проявляли симпатию ко всем этим союзам и даже к евреям, хотя я вовек не забуду, как вы мне насолили, став на сторону забастовщиков, когда эти разбойники хотели разрушить все мое дело... сжечь мои полировочные мастерские... Ведь вы даже дружили с этим прохвостом Карлом Паскалем, затеявшим всю забастовку... Уж не сомневайтесь, когда все кончилось, я получил громадное удовольствие, уволив в первую очередь именно его.

Но как бы то ни было, теперь эти подонки с коммунистами во главе собираются управлять страной... предписывать людям, вроде меня, как нам вести дела!.. Правильно сказал генерал Эджуэйс, что, если мы окажемся втянутыми в войну, они откажутся служить родине. О да, сэр, момент чрезвычайно серьезный, и пора вам прекратить насмешки и примкнуть к гражданам, сознающим свою ответственность.

– Гм! – откликнулся Дормэс. – Я согласен, что момент серьезный. Учитывая недовольство, которое накопилось в стране, сенатор Уиндрип имеет полную возможность быть избранным в ноябре в президенты; а если это случится, то очень возможно, что эта шайка втянет нас в какую-нибудь войну, просто чтобы потешить свое безумное тщеславие и доказать миру, что мы самые сильные. И тогда меня, либерала, и вас, плутократа, притворяющегося консерватором, выведут и расстреляют в три часа утра. Еще бы не серьезный!

– Ерунда! Вы преувеличиваете! – сказал Р. К. Краули.

Дормэс продолжал:

– Если епископ Прэнг, наш Савонарола в «Кадиллаке», склонит своих радиослушателей и свою «Лигу забытых людей» на сторону Бэза Уиндрипа, победа Бэзу обеспечена. Люди будут думать, что его выбирают для создания стабильной экономики. Тогда уж жди террора. Видит бог, у нас в Америке возможна тирания: положение фермеров в южных штатах тяжелое; условия труда горнорабочих и рабочих швейной промышленности плохие; Муни столько лет держат в тюрьме. Но погодите, Уиндрип еще покажет нам, как говорят пулеметы! Демократия!.. Все же ни у нас, ни в Англии, ни во Франции не было такого полного и такого гнусного рабства, как национал-социализм в Германии, такого ограниченного фарисейского материализма, как в России. Хотя демократия и вырастила таких промышленников, как вы, Фрэнк, и таких банкиров, как вы, Краули, и дала вам слишком много денег и власти, в целом, за редкими позорными исключениями, демократия воспитала в рядовом рабочем такое достоинство, какого у него прежде не было. Теперь всему этому угрожает Уиндрип – все эти Уиндрипы! Ну что ж, хорошо! Может быть, на отеческую диктатуру нам придется ответить в некотором роде отцеубийством... выкатить против пулеметов пулеметы. Подождите, пусть только Бэз возьмет на себя заботу о нас. Уж это будет настоящая фашистская диктатура!

– Глупости! Нелепость! – проворчал Тэзброу. – У нас, в Америке, это невозможно! Америка – страна свободных людей.

– Черта с два невозможно, отвечу я вам, – сказал Дормэс Джессэп, – да, прошу прощения, мистер Фок! Ведь нет в мире другой страны, которая так легко впадала бы в истерию... или была бы более склонна к раболепству, чем Америка. Взгляните: Хьюи Лонг стал абсолютным

монархом Луизианы, а как почтенный сенатор мистер Берзелиос Уиндрип командует своим штатом! Послушайте, что говорят епископ Прэнг и отец Кофлин по радио... их божественные прорицания обращены к миллионам. Вспомните, как легкомысленно отнеслось большинство американцев к злоупотреблениям в Демократической партии, к бандитским шайкам в Чикаго и к тем безобразиям, в которых повинны многие ставленники президента Гардинга! Еще вопрос, что хуже: банда Гитлера или банда Уиндрипа? Вспомните Ку-клукс-клан! Вспомните нашу военную истерию, когда мы шницель по-венски переименовали в «шницель свободы»! А цензура военного времени, от которой стонали все честные газеты? Не лучше, чем в России!

А как мы целовали... скажем, ноги этого евангелиста-миллионщика Билли Сандея и Эйми Макферсон, которая из Тихого океана приплыла прямехонько в пустыню Аризоны, и все ей поверили? А помните Волива и мать Эдди?.. Помните наши красные ужасы и ужасы католические, когда республиканцы, проводя кампанию против Эла Смита, говорили каролинским горцам, что, если Эл победит, папа объявит их детей незаконнорожденными? Помните Тома Гефлина и Тома Диксона? Помните, как в некоторых штатах провинциальные законодатели, действуя по указке Уильяма Дженнингса Брайана, учившегося биологии у своей благочестивой бабушки, вообразили себя вдруг учеными экспертами и заставили хохотать весь мир, запретив учение об эволюции?.. Помните ночных громил из Кентукки? А как толпы людей отправлялись полюбоваться зрелищем линчевания! Вы говорите, у нас это невозможно?! А сухой закон... Расстреливать людей за одно только подозрение в том, что они ввозили в страну спиртное... Нет, в Америке это невозможно! Да на протяжении всей истории никогда еще не было народа, более созревшего для диктатуры, чем наш! Мы готовы хоть сейчас отправиться в детский крестовый поход... только состоящий из взрослых... и высокочтимые аббаты Уиндрип и Прэнг охотно возглавят его!

– А хотя бы и так! – возразил Р. К. Краули. – Быть может, это не так уж плохо. Не нравятся мне все эти бесконечные безответственные нападки на нас, банкиров. Конечно, сенатору Уиндрипу приходится для виду притворяться и нападать на банки, но, едва он придет к власти, он предоставит банкирам возможность участвовать в управлении и будет пользоваться нашими советами, советами опытных финансистов. Да, да! Почему вас так пугает слово «фашизм», Дормэс? Это – только слово... только слово! И, быть может, не так уж это и плохо для обуздания ленивых шалопаев, которые кормятся пособием и живут за счет моего подоходного налога, да и за счет вашего. Может, не так это и плохо иметь настоящего сильного человека вроде Гитлера или Муссолини... или же вроде Наполеона и Бисмарка в доброе старое время... и чтобы он действительно правил страной и сделал ее снова благоденствующей и процветающей. Иными словами, хорошо бы заполучить доктора, который не станет обращать внимания ни на какие отговорки, а действительно возьмет пациента в руки да заставит его выздороветь, хочет он того или нет!

– Вот именно! – сказал Эмиль Штаубмейер. – Разве Гитлер не спас Германию от красной чумы марксизма? У меня там двоюродные братья. Кому и знать, как не мне!

– Хм! – по привычке хмыкнул Дормэс. – Лечить язвы демократические язвами фашизма! Странная терапия! Я слышал о лечении сифилиса путем прививки малярии, но сроду не слышал, чтобы малярию лечили, прививая сифилис!

– Вы находите подобные выражения уместными в присутствии его преподобия? – возмутился Тэзброу.

Мистер Фок вмешался:

– Я нахожу ваши выражения вполне уместными и вашу мысль очень интересной, брат Джессэп!

– Да и вообще, – сказал Тэзброу, – не стоит переливать из пустого в порожнее. Может быть, оно и хорошо бы, как сказал Краули, поставить у власти сильного человека, но... но здесь, в Америке, это невозможно.

И Дормэсу показалось, что губы преподобного мистера Фока неслышно прошептали:
«Черта с два невозможно!»

III

Дормэс Джессэп, редактор и владелец газеты «Дейли Информер», этой библии консервативных вермонтских фермеров всей долины Бьюла, родился в Форте Бьюла в 1876 году; он был единственным сыном бедного универсалистского пастора, преподобного Лорена Джессэпа. Мать его была урожденная Басс, из штата Массачусетс. Пастор Лорен, любитель книг и цветов, человек веселого нрава, но не особенно остроумный, часто повторял, что с точки зрения ихтиологии жена его носит неправильное имя: ей бы полагалось называться треской, а не окунем⁶.

В пасторском доме было мало мяса, но много книг, причем далеко не все богословские, так что к двенадцати годам Дормэс был уже знаком с нечестивыми сочинениями Скотта, Диккенса, Теккерея, Джейн Остин, Теннисона, Байрона, Китса, Шелли, Толстого и Бальзака. Он получил образование в Исайя-колледже; это бывшее детище предприимчивых унитарийцев превратилось в 1894 году в безликий протестантский колледж – тесный деревенский хлев учености в Норт-Бьюла, в тринадцати милях от Форта.

Но в наше время Исайя-колледж выдвинулся (правда, не в смысле образования) – в 1931 году он победил дартмутскую футбольную команду со счетом 64:6.

В годы пребывания в колледже Дормэс написал много плохих стихов и навсегда пристрастился к книгам, но в то же время был прекрасным бегуном.

Он посылал корреспонденции в редакции бостонских и спрингфилдских газет и после окончания колледжа работал репортером в Ратленде и Вустере, а один – незабываемый – год провел в Бостоне; мрачная красота этого города, его старина произвели на него такое же впечатление, какое Лондон производит на молодого йоркширца. Его восхищали концерты, художественные галереи и книжные магазины; три раза в неделю он бывал в театре, покупая билет за двадцать пять центов на галерку, два месяца он жил в одной комнате с другим репортером, которому удалось поместить небольшой рассказец в «Сенчури» и который чертовски бойко разглагольствовал о писателях и о литературном ремесле. Дормэс был не особенно крепкого здоровья и не отличался выносливостью; шум города, уличное движение и суматоха утомляли его, поэтому в 1901 году, через три года после окончания колледжа, когда его давно овдовевший отец умер и оставил ему 2980 долларов и свою библиотеку, Дормэс вернулся в Форт Бьюла и приобрел четвертую часть паев в «Информере», который в то время был еженедельником.

В 1936 году это была уже ежедневная газета, и он был единоличным ее владельцем, правда, изрядно задолжавшим банку, у которого получил ссуду.

Он был спокойным, благожелательным хозяином; с ловкостью детектива разнюхивал новости; в этом строго республиканском штате сохранял в вопросах политики полную независимость; в передовицах, направленных против взяточничества и всяких злоупотреблений, он умел быть беспощадным, не становясь одержимым.

Он доводился троюродным братом Кэлвину Кулиджу, который считал его хорошим семьянином, но беспринципным политиком. Сам Дормэс думал о себе как раз обратное.

Жена его, Эмма, тоже была уроженкой Форта Бьюла. С ней, дочерью фабриканта детских колясок, спокойной, хорошенькой, широкоплечей девушкой, он учился в старших классах.

Теперь, в 1936 году, один из их троих детей, Филипп (окончивший юридический факультет Гарвардского университета), был женат и успешно занимался адвокатской практикой в Вустере; Мэри была женой Фаулера Гринхилла – доктора медицины, жившего в Форте Бьюла, веселого, неутомимого врача, рыжеволосого человека с неумным темпераментом, который творил чудеса в лечении брюшного тифа, острого аппендицита, сложных переломов, в области

⁶ Игра слов: bass – по-английски «окунь».

акушерства и диеты для малокровных детей. У Фаулера и Мэри был сын – единственный внук Дормэса, – красивый маленький Дэвид, который в свои восемь лет был робким, одаренным воображением, нежным ребенком с такими громадными печальными глазами и такими рыже-вато-золотистыми волосами, что его портрет был бы вполне на месте на выставке в Национальной академии или даже на обложке женского журнала с 2,5-миллионным тиражом. Соседи Гринхиллов неизменно говорили о мальчике: «Ах, у Дэви такая богатая фантазия, не правда ли?! Он, верно, будет писателем, как его дедушка!»

Самой младшей из детей Дормэса была веселая, бойкая, подвижная Сесилия, которую все называли Сисси и которой было восемнадцать лет, когда ее брату Филиппу исполнилось тридцать два года, а Мэри – миссис Гринхилл – перевалило за тридцать. Она доставила Дормэсу немало радости, согласившись остаться дома кончать среднюю школу, но все мечтала уехать, изучать архитектуру и «попросту загребать миллионы, дорогой па!» на проектировании и постройке совершенно изумительных домиков.

Миссис Джессэп жила в глубокой (и совершенно необоснованной) уверенности, что ее Филипп – вылитый принц Уэльский; что жена Филиппа Мерилла (белокурая девушка из Вустера) удивительно похожа на принцессу Марину; что любой человек, незнакомый с ее дочерью Мэри, примет ее за Кэтрин Хепбэрн; что Сисси – настоящая дриада, а Дэвид – средневековый паж; и что Дормэс (которого она знала лучше, чем своих подмененных эльфами детей) поразительно напоминает морского героя Уинфилда Скотта Шлея, каким он был в 1898 году.

Эмма Джессэп была честной, преданной женой, участливой и добродушной, первоклассной мастерицей по части лимонных пирогов; притом она была консервативна, невероятно привержена к англиканской церкви и начисто лишена чувства юмора. Ее добродушная серьезность постоянно вызывала в Дормэсе желание пошутить над ней, и если он не изображал из себя активного коммуниста, готового немедленно отправиться в Москву, то это следовало считать особым актом милосердия с его стороны.

Дормэс казался очень озабоченным и старым, когда он, как из инвалидного кресла, выбрался из своего «Крейслера» в безобразном гараже из бетона и оцинкованного железа. (Но зато это был гараж на два автомобиля; кроме «Крейслера», уже четыре года бывшего в употреблении, у них имелся новый «Форд», и Дормэс не терял надежды когда-нибудь прокатиться в нем, перехватив его у Сисси.)

Он крепко чертыхнулся, ободрав себе ногу о газонокосилку, оставленную на дорожке его работником, неким Оскаром Ледью, известным под прозвищем Шэд, рослым, краснолицым, угрюмым и грубым ирландцем из Канады. Это похоже на Шэда – оставить газонокосилку не на месте, чтобы она хватала за ноги порядочных людей. Шэд ничего не умел делать и был всегда зол. Он никогда не выравнивал края цветочных клумб; не снимал с головы свою старую вонючую шапку, когда вносил в комнату дрова для камина; он не скашивал одуванчиков на лугу, пока они не рассеивали семена; ему доставляло удовольствие «забыть» сказать кухарке, что горох созрел; и он никогда не упускал случая пристрелить кошку, бродячую собаку, белку или сладкогласого черного дрозда. Дважды в день Дормэс решал уволить его. Но... возможно, он и не лукавил перед собой, утверждая, что, в сущности, это презабавно – попытаться перевоспитать такое упрямое животное.

Войдя в кухню, Дормэс решил, что ему не хочется ни холодного цыпленка со стаканом молока из холодильника, ни даже кусочка знаменитого слоеного кокосового торта, приготовленного их главной кухаркой миссис Кэнди, и сразу поднялся в свой «кабинет» на третьем этаже, под крышей.

Белый, просторный, обшитый досками дом с мансардой был построен в 1880 году; фасад украшал портик с прямоугольными белыми столбами. Дормэс заявлял, что дом его безобразен, но «по-милому безобразен».

Кабинет под крышей был для Дормэса единственным убежищем от домашней суеты и приставаний. Одну лишь эту комнату миссис Кэнди (тихая, угрюмая, знающая себе цену, грамотная женщина, бывшая когда-то сельской учительницей) не имела права убирать. Здесь царил милый сердцу Дормэса хаос: романы, номера «Нью-Йоркер», «Конгрешэнэл рекорд», «Тайм», «Нэйшн», «Нью-рипаблик», «Нью мэссиз» и «Спекулум» (органа монашеского средневекового общества); трактаты о налогах и денежных системах, карты, толстые тома, посвященные исследованиям Абиссинии и Антарктики; огрызки карандашей, разболтанная портативная пишущая машинка, рыболовные снасти, измятая копировальная бумага, два удобных старых кожаных кресла, виндзорское кресло у письменного стола, полное собрание сочинений Томаса Джефферсона – любимого автора Дормэса; микроскоп и коллекция вермонтских бабочек; наконечники стрел индейцев; тощие тетрадки вермонтских сельских виршей, напечатанных в местных типографиях; Библия, Коран, Книга Мормона, «Наука и здоровье», книга избранных отрывков из «Махабхараты», стихотворения Сэндберга, Фроста, Мастерса, Джефферса, Огдена Нэша, Эдгара Геста, Омара Хайяма и Мильтона; охотничье ружье и винтовка; поблекшее знамя Исая-колледжа; полный оксфордский словарь; пять авторучек, из которых писали только две; критская ваза 327 года до нашей эры – пребезобразная; Мировой альманах за позапрошлый год, с переплетом, видимо, изжеванным собакой; несколько пар очков в роговой оправе и пенсне без оправы – уже давно ему не годившиеся; красивое, считавшееся тюдоровским дубовое бюро из Девоншира; портреты Этана Аллена и Тэдьо Стивенса; резиновые болотные сапоги и стариковские домашние туфли из красного сафьяна; афиша, отпечатанная «Вермонтским Меркурием» в Вудстоке 2 сентября 1840 года в честь блистательной победы вигов; двадцать четыре коробки спичек, украденные по одной из кухни; семь книжек, трактующих о России и большевизме – самые невероятные «за» и «против»; фотография Теодора Рузвельта с автографом; полдюжины папиросных коробок, наполовину пустых (по традиции оригиналов-журналистов Дормэсу надлежало бы курить добрую старую трубку, но пропитанная никотином слюна вызывала у него отвращение); вытертый ковер на полу, увядшая веточка остролиста с обрывком серебряной елочной канители; коробка с семью настоящими шеффилдскими бритвами, ни разу не бывшими в употреблении; французские, немецкие, итальянские и испанские словари, – читал он только по-немецки; канарейка в баварской золоченой плетеной клетке; истрепанный том «Старинных песен для дома и развлечения», отрывки которых он часто напевал, держа книгу перед собой на коленях; старинная чугунная печка времен Франклина – все вещи, действительно необходимые отшельнику и совершенно не подходящие для нечестивых рук домашних.

Прежде чем зажечь свет, Дормэс посмотрел через слуховое окно на громаду гор, закрывавшую путаницу звезд. В середине виднелись последние огни Форта Бьюла, далеко внизу, слева, невидимые в темноте, лежали мягкие луга, старые фермы и большие молочные хозяйства в Этан Моуинг. Благодатная сторона, невозмутимая и ясная, как луч света, подумал Дормэс. Он любил ее все больше, по мере того как мирные годы текли один за другим после его бегства от городской суеты и скученности.

Миссис Кэнди – их экономке – разрешалось входить в его отшельническую келью лишь для того, чтобы принести ему почту, которую она оставляла на длинном столе. Дормэс стал быстро просматривать ее, стоя у стола. (Пора спать! Слишком много болтали сегодня вечером, и слишком он разволновался. О господи, уже за полночь!) Он вздохнул, сел в свое виндзорское кресло, облокотился о стол и внимательно перечитал первое письмо.

Оно было от Виктора Лавлэнда, одного из молодых интернационалистски настроенных преподавателей в старой школе Дормэса, Исая-колледже.

«Дорогой доктор Джессеп!»

(Хм! «Доктор Джессеп!» Где там! Единственное ученое звание, которого я когда-нибудь удостоюсь, – это магистр ветеринарии или лауреат

бальзамирования.) У нас в колледже создается чрезвычайно серьезное положение, и те из нас, кто пытается встать на защиту честных современных людей, очень встревожены... ненадолго, правда, потому что все мы, по-видимому, скоро будем уволены. Еще два года назад большинство наших студентов высмеивало всякую мысль о военной муштре, теперь же все стало необычайно воинственными, и студенты с жаром изучают винтовки, пулеметы и чертежи танков и самолетов. Двое из студентов добровольно ездят каждую неделю в Ратленд, где изучают летное дело, очевидно, желая стать военными летчиками. Когда я осторожно спрашиваю их, к какой же это войне они так готовятся, они чешут затылки и говорят, что их это не интересует, – лишь бы только представилась возможность показать, какие они brave boys.

Что же, мы уже привыкли к этому! Но как раз сегодня днем... в газетах этого еще нет... попечительский совет при участии мистера Фрэнсиса Тэзброу и нашего директора доктора Оуэна Пизли принял на своем заседании следующее постановление – вы только послушайте, доктор Джессеп: «Всякий преподаватель или студент Исайя-колледжа, который каким бы то ни было образом – публично, или частным образом, в печати, или письменно, или в устном разговоре – будет высказываться против военного обучения в Исайя-колледже или в каком-либо другом учебном заведении Соединенных Штатов, производимого войсками отдельных штатов, или федеральными войсками, или другими официально признанными военными организациями нашей страны, – подлежит немедленному исключению из колледжа, а всякий студент, который доведет до сведения председателя или любого из попечителей колледжа о такой злой критике со стороны лица, так или иначе связанного с колледжем, получит хорошие отметки по курсу военного обучения, каковые будут зачтены ему при окончании колледжа».

Вот с какой быстротой идем мы к фашизму!

Виктор Лавлэнд».

А ведь Лавлэнд, преподававший греческий, латынь и санскрит (двум унылым студентам), до сих пор никогда не вмешивался в дела политические, относящиеся к периоду более позднему, чем 180-й год после Рождества Христова.

«Значит, Фрэнк был на этом заседании попечительского совета и не решился рассказать мне, – подумал Дормэс. – Поощряют студентов быть шпионами! Гестапо! О мой дорогой Фрэнк, серьезные настали времена! Хоть ты и тупица, а правду сказал! Директор Оуэн Пизли, надутый ханжа, разбойник, горе-педагог. Но что я могу сделать? Ох... разве только написать еще одну передовую, сигнализирующую об опасности?»

Он повалился в глубокое кресло и сидел в нем, беспокойно ерзая, как маленькая встревоженная птица с блестящими глазами.

За дверью послышался шум, настойчивый, требовательный.

Он открыл и впустил Фулиша, их собаку. Фулиш был помесью английского сеттера, эрдельтерьера, охотничьего спаниеля, бояливой лани и рычащей гиены. Он отрывисто гавкнул в знак приветствия и прижался коричневой атласной головой к коленям Дормэса. От его лая проснулась канарейка в клетке, покрытой нелепым старым синим свитером; ее веселое щебетание возвестило полдень, жаркий летний полдень среди грушевых деревьев на зеленых холмах Гарца, что было ни с чем не сообразно. Но щебетание птички и присутствие преданного Фулиша успокоили Дормэса; ему уже не казались важными и военное обучение, и изрыгающие угрозы политики, и, успокоенный, он уснул в своем старом кожаном кресле.

IV

Всю эту июньскую неделю Дормэс с нетерпением ждал, когда же наступит суббота, два часа дня, – ведь сам бог назначил это время для еженедельного пророчества епископа Пола Питера Прэнга по радио.

Сейчас, в 1936 году, за шесть недель до начала партийных съездов, было уже вполне очевидно, что ни Франклин Рузвельт, ни Герберт Гувер, ни сенатор Ванденберг, ни Огден Миллз, ни генерал Хью Джонсон, ни полковник Фрэнк Нокс, ни сенатор Бора не будут выставлены ни одной из партий кандидатами на пост президента и что знаменосцем Республиканской партии, то есть как раз тем, кому никогда не приходится тащить большое, надоевшее и немного смешное знамя, будет верный своей партии и при этом честный старомодный сенатор Уолт Тробридж⁷. В этом человеке было что-то от Линкольна, что-то напоминало Уилла Роджерса и Джорджа Норриса, что-то неуловимо роднило его с Джимом Фарлеем, а во всем остальном он был все тем же простым, грузным, невозмутимым и независимым Уолтом Тробриджем.

Не оставалось также сомнений, что кандидатом Демократической партии станет этот ракетой взвившийся сенатор Берзелиос Уиндрип и что Уиндрип, по существу, лишь маска с громовым голосом, за которой скрывается сатанинский мозг – секретарь Уиндрипа Ли Сарасон.

Отец сенатора Уиндрипа был аптекарем в маленьком городишке на Западе; честостюбивый неудачник, он назвал сына Берзелиос по имени шведского химика⁸. Все знали его под именем «Бэз». Он прошел курс обучения в одном из южных баптистских колледжей, потом обучался в Джерси-сити, затем в Чикагской школе права и в завершение всего обосновался в своем родном штате, чтобы заняться адвокатской практикой и оживить местную политическую жизнь. Он неутомимо разъезжал по штату, произносил пылкие и веселые речи, вдохновенно отгадывал, какие политические доктрины будут иметь успех у публики; он умел горячо пожать руку и охотно давал займы деньги. Он пил кока-колу с методистами, пиво – с лютеранами, калифорнийское белое вино – с деревенскими лавочниками-евреями и, когда никто посторонний не видел, пил с ними со всеми виски.

В течение двадцати лет он так же неограниченно правил в своем штате, как султан в Турции.

Он никогда не был губернатором: он был достаточно проницателен, чтобы понимать, что его репутация знатока по части рецептов изготовления пунша, разновидностей покера и психологического подхода к стенографисткам обречет его на провал у благочестивых избирателей, и он удовольствовался тем, что водворил на губернаторское место сельского учителя, эдакую дрессированную блеющую овцу, которую он весело тащил за собой на широкой голубой ленте. Жители штата были уверены, что получили «хорошее управление», – благодаря Бэзу Уиндрипу, а не губернатору.

Уиндрип был инициатором строительства автомобильных дорог и объединенных сельских школ; он заставил администрацию штата купить тракторы и комбайны и предоставить их фермерам во временное пользование за определенную плату. Он был уверен, что в будущем Америка завяжет тесные деловые отношения с русскими, и, хотя презирал всех славян, заставил университет своего штата впервые на Западе ввести в программу курс русского языка.

⁷ На самом деле съезд Демократической партии летом 1936 года выдвинул на пост президента на второй срок Ф. Рузвельта, который одержал решительную победу над республиканцем Альфом Лэндоном, ставленником «большого бизнеса», фашистских и полуфашистских организаций. Рузвельт получил около 27,4 миллиона голосов, Лэндон – 16,6 миллиона.

⁸ Имеется в виду Иенс-Якоб Берцелиус (1779–1848), определивший атомные веса ряда элементов, развивший электрохимическую теорию и сделавший ряд выдающихся открытий в химии.

Самым оригинальным его изобретением было увеличение численности войск этого штата в четыре раза и награждение лучших солдат тем, что им предоставлялась возможность изучать сельское хозяйство, авиадело, радиотехнику и технику автомобильного дела.

Солдаты смотрели на него, как на своего генерала и своего бога, и когда генеральный прокурор штата заявил, что намерен предать Уиндрипа суду за расхищение 200 тысяч долларов из налоговых средств, войска стали на защиту Бэза Уиндрипа, словно это была его личная гвардия; заняв помещения всех судебных и других государственных учреждений и установив пулеметы на улицах, ведущих к Капитолию, они изгнали врагов Уиндрипа из города.

Он воспринял свое избрание в сенат как осуществление собственного наследственного права. В течение шести лет единственным человеком, оспаривавшим у него славу самого шумливого и беспокойного человека в сенате, был покойный Хьюи Лонг из Луизианы.

Он проповедовал утешительное евангелие перераспределения богатств, при котором на долю каждого жителя страны приходилось бы по несколько тысяч долларов в год (что касается точного количества тысяч, то оно у Бэза ежемесячно менялось), но и богатые могли бы существовать безбедно при ограничении их доходов до 500 тысяч долларов в год. Таким образом, перспектива избрания Уиндрипа президентом сулила всем счастье.

Преподобный доктор Эгертон Шлемиль, настоятель кафедрального собора Св. Агнесы в Сан-Антонио (Техас), заявил (раз в проповеди, раз в слегка отредактированном отчете о проповеди в газетах и семь раз в интервью), что приход Бэза к власти будет подобен «благостному всеоживляющему дождю, пролившемуся на запекшуюся и жаждущую почву». Доктор Шлемиль ничего не сказал о том, что будет, если благостный дождь будет лить четыре года подряд.

Никто, и даже вашингтонские корреспонденты, в точности не знал, сколь значительная роль в карьере сенатора Уиндрипа принадлежала его секретарю Ли Сарасону. Когда Уиндрип впервые пришел к власти в своем штате, Сарасон был главным редактором самой распространенной газеты в этой части страны. Происхождение Сарасона было и осталось тайной.

Говорили, что он уроженец Джорджии, Миннесоты, Ист-Сайда в Нью-Йорке, Сирии; что он чистокровный янки, еврей, чарлстонский гугенот. Было известно, что юношей он проявил исключительную храбрость, когда служил лейтенантом пулеметной части во время мировой войны, и что потом он еще года три-четыре слонялся по Европе: работал в парижском филиале нью-йоркского «Геральда»; занимался живописью и вопросами черной магии во Флоренции и Мюнхене; несколько месяцев изучал социологию в Высшей экономической школе в Лондоне; яхшался с чрезвычайно странной публикой в ночных ресторанах Берлина. Вернувшись на родину, Сарасон сразу заделался «бесстыжим репортером», уверявшим, что лучше пусть его назовут «проституткой», чем «слонтяем-журналистом». Подозревали все же, что, несмотря на это, он сохранил способность читать.

Ему случалось быть то социалистом, то анархистом. Даже в 1936 году кое-кто из состоятельных лиц утверждал, что Сарасон слишком «радикален», но в действительности он потерял веру в массы (если у него таковая была) в период оголтелого послевоенного национализма и верил теперь только в твердую власть немногочисленной олигархии. Тут он был настоящий Гитлер, настоящий Муссолини.

Сарасон был сухопарый, сутулый человек, с редкими бесцветными волосами и толстыми губами на костлявом лице. Его глаза были подобны искрам на дне двух темных колодцев. В его длинных руках была какая-то бескровная сила. Он обычно поражал тех, кто здоровался с ним за руку, – вдруг заламывал им пальцы назад с такой силой, что чуть не ломал их. Это мало кому нравилось. Как газетный работник он был специалистом высшей марки. Он умел разнюхать дело о мужеубийстве, о подкупе политического деятеля, – разумеется, такого, который принадлежал к группировке, враждовавшей с его газетой, – об истязании животных или детей, причем сообщения последнего рода он любил писать сам, не поручая их репортерам,

и тогда вы ясно видели перед собой промозглый погреб, слышали звуки хлыста и ощущали липкую кровь.

По сравнению с газетчиком Ли Сарасоном маленький Дормэс Джессэп из Форта Бьюла был примерно тем же, чем является сельский священник по сравнению с получающим 20 тысяч долларов дохода священнослужителем двадцатиэтажного радиофицированного нью-йоркского молитвенного дома.

Сенатор Уиндрип официально числил Сарасона своим секретарем, но все знали, что Сарасон далеко не только секретарь: он и телохранитель, и вдохновитель, и советник по рекламе и финансам. В Вашингтоне Ли Сарасон стал тем человеком, с которым больше всех считались и которого меньше всех любили корреспонденты газет в вашингтонском сенатском управлении.

Уиндрип в 1936 году был молодым сорокавосемилетним человеком; Сарасон же в свои сорок лет был пожилым человеком со впалыми щеками.

Надо полагать, что Сарасон пользовался заметками, продиктованными Уиндрипом, хотя он и сам обладал достаточно смелой фантазией; несомненно, что это он фактически написал единственную книгу Уиндрипа, библию его последователей, представляющую собой смесь автобиографии, экономической программы и развязной похвальбы, под названием «В атаку».

Это была острая книга, содержащая больше планов преобразования мира, чем все романы Герберта Уэллса, вместе взятые.

Самым популярным и, пожалуй, наиболее часто цитировавшимся отрывком из книги «В атаку» – отрывком, который полюбился провинциальной печати за простоватую грубость (хотя писал его человек, посвященный в тайны оккультных наук, именуемый Сарасон), был следующий:

«Когда я еще был ребенком и носился по полям, мы, мальчишки, обходились одной помочей на штанах и говорили попросту «штаны», «помочи». Эта помоча охраняла нашу скромность не хуже, чем если бы мы церемонничали и говорили «подтяжки» и «брюки». Вот так же обстоит дело и с так называемой «научной экономикой». Марксисты думают, что если они называют помочи подтяжками, то этим они начисто обесценивают старомодные идеи Вашингтона, Джефферсона и Александра Гамильтона. Что до меня, то я приветствую использование любого экономического открытия, имевшего место в так называемых фашистских странах – в Италии, Германии, Венгрии и Польше и даже, черт возьми, в Японии! Быть может, нам когда-нибудь придется задать жару этим маленьким желтолицым человечкам, чтобы они не ущемляли наши вполне законные интересы в Китае, но из-за этого мы ни в коей мере не должны пренебрегать некоторыми хитроумными идеями, разработанными этими способными пронырами.

Я хочу, выпрямившись во весь рост, во всеуслышание заявить, что нам надо во многом изменить нашу систему, может быть, изменить даже всю конституцию (но изменить законно, а не путем насилия), поднять ее от эпохи езды на лошадях по проселочным дорогам до уровня нашей эпохи автомобилей и бетонных шоссе.

Исполнительная власть должна получить большую свободу действий и иметь возможность быстро и решительно действовать в нужных случаях; ее не должна связывать масса пройдох-адвокатов, членов конгресса, которым требуются месяцы на то, чтобы выговориться во время прений. Но – и это «но» такое же большое, как сарай с сеном в усадьбе дьякона у нас в деревне, – эти экономические нововведения являются только средством для достижения Цели, а Цель в основном остается неизменной: это все те же принципы свободы, равенства и справедливости, в защиту которых выступали наши предки, основоположники этой великой страны, в 1776 году».

Самым запутанным и непонятным в предвыборной кампании 1936 года было взаимоотношение обеих руководящих партий. Старая гвардия республиканцев жаловалась, что их гордая партия оказалась на положении бедного просителя; ветераны Демократической партии выражали недовольство тем, что их традиционные крытые фургоны битком набиты университетскими профессорами, городскими жуликами и владельцами яхт.

Соперником сенатора Уиндрипа в сердцах народа был политический титан, которого, казалось, не должны были интересовать никакие посты, – преподобный Пол Питер Прэнг из Персеполиса (Индиана), епископ методистской епископальной церкви, человек лет на десять старше Уиндрипа. Его еженедельная речь по радио, произносимая в субботу, в два часа дня, была для миллионов людей в полном смысле божественным откровением. Столько сверхъестественной мощи было в этом голосе, звучавшем в эфире, что ради него мужчины опаздывали на гольф, а женщины даже откладывали свою субботнюю партию в бридж.

Отец Чарльз Кофлин из Детройта первый придумал способ, как освободить свои политические проповеди от всякой цензуры путем «покупки своего собственного времени в эфире»; только в двадцатом веке человечество получило возможность покупать время, как оно покупает мыло и бензин. По своему воздействию на всю американскую жизнь и мышление это изобретение почти не уступало идее Генри Форда – сбывать автомобили по дешевой цене миллионам людей, вместо того чтобы продавать их в небольшом количестве в качестве предметов роскоши.

Но епископ Пол Питер Прэнг настолько превосходил пионера этого дела отца Кофлина, насколько «Форд К-8» превосходил модель «А».

Прэнг был более чувствителен, чем Кофлин; он больше шумел, больше распинался, больше поносил своих врагов, открыто называя их по имени, расписывая пикантные подробности; он рассказывал больше забавных анекдотов и гораздо больше трагических историй о банкирах, атеистах и коммунистах, которые раскаялись только на смертном одре. Он больше гнусавил на отечественный лад, был чистокровным представителем Среднего Запада, и предки его были шотландскими протестантами из Новой Англии, в то время как Кофлина богатые фермеры всегда немного подозревали в том, что он католик с приятным ирландским произношением.

Ни один человек в мире не имел такой аудитории, как епископ Прэнг, и не обладал такой несомненной властью. Когда он требовал, чтобы его слушатели через своих членов конгресса голосовали за тот или иной законопроект, потому что ему, Прэнгу, *ex cathedra*⁹, ему одному, без всякой коллегии кардиналов, открылось, за что им надлежит голосовать, – пятьдесят тысяч человек сломя голову бросались к телефону или мчались в машинах по грязи на ближайший телеграф, чтобы от его имени передать правительству свои распоряжения. Таким образом, благодаря магии эфира Прэнг достиг такой власти, по сравнению с которой любая историческая корона должна была казаться жалкой мишурой.

Миллионам членов Лиги он посылал размноженные на мимеографе письма с факсимиле его подписи и обращением, так искусно впечатанным, что каждый радовался, вообразив, что получил привет лично от основателя Лиги.

Дормэс Джессэп, сидя в своей глуши, в горах, никак не мог понять, в чем суть политического евангелия, так громогласно возвещаемого епископом Прэнгом с его Синая, который со своим микрофоном и отпечатанными на машинке откровениями, рассчитанными во времени с точностью до одной секунды, гораздо более поражал и сильнее действовал на воображение, чем настоящий Синай.

В частности, Прэнг ратовал в своих проповедях за национализацию банков, рудников, гидростанций и транспорта; за ограничение доходов, за увеличение заработной платы, усиле-

⁹ С кафедры (лат.).

ние профсоюзов, более быстрое распространение потребительских товаров. Но ведь теперь все – от виргинских сенаторов до миннесотских членов рабоче-фермерской партии – пробавлялись этими благородными теориями, и уже не осталось легковых людей, которые верили бы в осуществление хотя бы одной из них¹⁰.

Существовало мнение, что Прэнг был лишь покорным рупором своей огромной организации, именуемой «Лигой забытых людей». Было широко распространено убеждение, что Лига насчитывает в своих рядах (хоть ни одна фирма с профессиональными бухгалтерами не проверяла еще ее списков) двадцать семь миллионов членов вместе с соответствующим ассортиментом федеральных чиновников, чиновников штатов и городских чиновников и с массой комиссий под пышными названиями, вроде «Национальная комиссия по составлению статистики безработицы и нормальной занятости рабочей силы в соевой промышленности».

Как бы то ни было, епископ Прэнг не в виде смиренного и слабого гласа божия, а всей своей величавой персоной появлялся и выступал с речами перед двадцатитысячными аудиториями, объезжая все крупнейшие города страны и гастролируя в громадных залах для боксерских состязаний, в кинодворцах, на оружейных заводах, на бейсбольных полях и в цирках; по окончании митинга его проворные помощники собирали членские взносы и заявления о принятии в члены «Лиги забытых людей». Когда его хулителю робко намекали, что все это очень романтично, забавно и красочно, но не очень-то достойно, епископ Прэнг отвечал: «Учитель охотно говорил и перед любыми простолюдинами, желавшими слушать его»; никто не осмеливался возразить ему на это: «Вы-то ведь не Учитель... пока еще».

При всех блестящих успехах Лиги с ее массовыми митингами ни разу не было случая, чтобы тот или иной догмат Лиги или же тот или иной случай давления, оказанного ею на конгресс и президента для проведения какого-либо закона, исходили от кого-нибудь, кроме самого Прэнга, действующего в едином лице, без всяких комиссий или сподвижников. Все, к чему стремился этот Прэнг, так часто твердивший о смирении и скромности Спасителя, заключалось в том, чтобы сто тридцать миллионов людей были абсолютно послушны ему, своему королю-жрецу, во всем, касавшемся их личной и общественной жизни, их способа добывать себе пропитание и всех их взаимоотношений с им подобными.

– И это, – ворчал Дормэс Джессэп, наслаждаясь благочестивым возмущением своей жены Эммы, – делает Прэнга тираном похуже, чем Калигула... и фашистом похуже, чем Наполеон. Знаешь, я, конечно, не верю всем этим слухам о том, что Прэнг присваивает членские взносы, и деньги от продажи брошюр, и пожертвования для оплаты его выступлений по радио. Мне кажется, что здесь дело гораздо хуже. Я боюсь, что он честный фанатик! Вот почему он и представляется мне как реальная угроза фашизма... Он так чертовски гуманен, так благороден, что большинство людей охотно предоставило бы ему управлять решительно всем, а в стране таких размеров, как наша, эта работка не из легких... Не из легких, моя милая... даже для методистского епископа, получающего так много приношений, что он может себе позволить «покупать время»!

А между тем Уолт Троубридж, вероятный кандидат Республиканской партии на пост президента, страдавший чрезмерной честностью и не желавший обещать чудес, упорно твердил, что мы живем в Соединенных Штатах Америки, а не на усыпанном золотом пути к Утопии.

Ничего утешительного в таком реализме не было, так что всю эту дождливую июньскую неделю, когда отцветали яблони и увядала сирень, Дормэс Джессэп ждал очередной энциклики папы Пола Питера Прэнга.

¹⁰ В 1922 году в штате Миннесота возникла «третья», рабоче-фермерская партия, противостоявшая демократам и республиканцам. В 30-х годах ее представители дважды избирались на пост губернатора штата.

V

Я слишком хорошо знаю Прессу. Почти все редакторы таятся в своих грязных норах; эти люди не думают о Семье, об интересах Общества, о радости прогулок на свежем воздухе и помышляют лишь о том, как бы всех оболгать, улучшить собственное положение и набить свои бездонные карманы, извергая клевету на государственных деятелей, готовых отдать все для блага Общества и всегда легкоуязвимых, так как они находятся у всех на виду в ослепительном сиянии трона.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик

Июньское утро сияло; последние лепестки отцветающих диких вишен лежали, влажные от росы, на траве, и реполовы весело возились на лужайке. Дормэса, любившего поваляться в постели и подремать украдкой после того, как в восемь часов его будили, что-то заставило быстро вскочить и проделать несколько гимнастических упражнений. Он стоял перед окном своей комнаты и глядел на темные массивы сосен на горных склонах, по ту сторону реки Бьюла, в трех милях от его дома.

Последние пятнадцать лет у Дормэса и Эммы были отдельные спальни; нельзя сказать, чтобы Эмма была этим так уж довольна, но Дормэс уверял, что он ни с кем не может спать в одной комнате, так как ночью он бормочет во сне и любит ворочаться в кровати и взбивать подушки без опасения кого-нибудь обеспокоить.

Была суббота – день прэнговских откровений, но в это ясное утро, после стольких дождливых дней, Дормэсу совсем не хотелось думать о Прэнге; он думал о том, что его сын Филипп неожиданно приехал с женой из Вустера, чтобы провести с ними субботу и воскресенье, и о том, как они всей компанией вместе с Лориндой Пайк и Бакком Титусом устроят «настоящий старомодный семейный пикник».

На этом все настаивали, даже светская Сисси, которая в свои восемнадцать лет уделяла очень много времени теннису, гольфу и таинственным, бешеным автомобильным поездкам с Мэлкомом Тэзброу (только что окончившим школу) или с внуком епископального священника Джулиэном Фоком (первокурсником Амхерстского университета).

Дормэс ворчал, что он не может ехать ни на какой пикник; что он обязан как редактор остаться дома и слушать в два часа речь епископа Прэнга по радио; но они только смеялись над ним, ерошили ему волосы и приставали к нему до тех пор, пока он не обещал им поехать (они не знали, что он одолжил у своего друга, местного католического священника Стивена Пирфайкса, портативный радиоприемник и так или иначе услышит Прэнга).

Он был доволен, что с ними будут Лоринда Пайк – он любил эту насмешливую праведницу – и Бак Титус, пожалуй, самый близкий его друг.

Джеймсу Баку Титусу, которому было пятьдесят лет от роду, можно было дать не больше тридцати восьми; стройный, широкоплечий, с тонкой талией, длинными усами и смуглой кожей, Бак был типичным американцем прежних времен в стиле Даниэля Буна. Получив образование в Виллиамсе, он затем десять недель провел в Англии и десять лет – в штате Монтана; эти десять лет ушли на разведение рогатого скота, геолого-разведочную работу и на занятие коневодством. Его отец, довольно богатый железнодорожный подрядчик, оставил ему большую ферму около Вест-Бьюла, и Бак, вернувшись домой, занялся выращиванием яблонь, разведением моргановских жеребцов и чтением Вольтера, Анатоля Франса, Ницше и Достоевского. Во время войны он был простым рядовым, презирал своих офицеров, отказался от офицерского чина и восхищался действиями немцев в Кёльне. Он хорошо играл в поло, а охоту с собаками считал детской забавой. Что касается политики, то он не столько сокрушался о тяже-

лом положении рабочих, сколько презирал прижимистых эксплуататоров, засевших в своих конторах и зловонных фабриках. В общем, насколько это возможно в Америке, он был похож на английского деревенского сквайра. Бак был холостяком и занимал большой дом, построенный в средневикторианском стиле. Хозяйство у него вела приветливая чета негров; в своем строгом жилище он иногда принимал не совсем строгих дам. Он называл себя «агностиком», а не «атеистом» только потому, что презирал выкрики и завывания присяжных атеистов. Он был циничен, редко улыбался и был неизменно предан всем Джессэпам. Участие Бака в пикнике радовало Дормэса не меньше, чем его внука Дэвида.

«Возможно, что и при фашизме все будет так же спокойно и мы будем по-прежнему распивать чай, да, пожалуй, еще и с медом», – подумал Дормэс, надевая свой щегольской загородный костюм.

Единственное, что омрачало веселые приготовления к пикнику, было грубое ворчание работника Джессэпов Шэда Ледью. Когда его попросили повертеть мороженицу, он проворчал: «Почему это вы не могли приобрести электрическую мороженицу?» Особенно громко ворчал он по поводу тяжести корзинок с припасами для пикника, а когда его попросили в отсутствие хозяев привести в порядок подвал, он ничего не сказал, но взгляд его выражал молчаливое бешенство.

– Вам бы следовало избавиться от этого Ледью! – настойчиво повторял сын Дормэса Филипп, адвокат.

– Ох, и сам не знаю! – размышлял Дормэс вслух. – Может быть, это только моя беспомощность. Но я убеждаю себя, что провожу социальный эксперимент... пытаюсь привить ему обходительность среднего неандертальца. А быть может, я боюсь его... он, пожалуй, из тех мстительных крестьян, что поджигают амбары... Ты знаешь, Фил, что он много читает?

– Неужели!

– Да, да! Большей частью киножурналы с декольтированными дамами и приключенческими рассказами, но он читает и газеты. Он говорил мне как-то, что восхищается Бэзом Уиндрипом и уверен, что Уиндрип станет президентом и тогда каждый... боюсь, что он имел в виду только себя... будет иметь пять тысяч в год. Сторонники Бэза, видимо, – истые филантропы.

– Послушай, папа! Ты не понимаешь сенатора Уиндрипа. Конечно, кое в чем он демагог... много кричит о том, как он повысит подоходный налог и захватит банки, но он этого не сделает, конечно... это только приманка для тараканов.

А что он сделает – и, может быть, только он и способен сделать это, – он защитит нас от этих большевиков, которые рады были бы сунуть всех нас, едущих на пикник, и вообще всех порядочных, чистоплотных людей, привыкших жить каждый в своей комнате, в общественные спальни и заставить нас варить щи на примусе, поставленном на кровать! Да, да! А может быть, и вовсе «ликвидировать» нас! Да, сэр, Берзелиос Уиндрип – вполне подходящий парень, чтобы расправиться с этими подлыми, трусливыми еврейскими шпионами, которые корчат из себя американских либералов!

«Это лицо – лицо моего разумного сына Филиппа, но голос принадлежит антисемиту Юлиусу Штрейхеру», – вздохнул Дормэс.

Для пикника выбрали площадку среди серых, поросших лишайником скал, откуда виднелись березовая роща на горе Террор и ферма двоюродного брата Дормэса Генри Видера, солидного, молчаливого вермонтца добрых, старых времен. За отдаленным горным ущельем матово поблескивало озеро Чамплейн, а за ним высилась громада Эдирондакских гор.

Дэви Гринхилл со своим любимцем Баком Титусом боролись на жесткой луговой траве. Филипп и доктор Фаулер Гринхилл, зять Дормэса (Фил в свои тридцать два года – тучный и наполовину облысевший; Фаулер – с непокорной ярко-рыжей шевелюрой и такими же рыжими

усами), обсуждали достоинства автожира. Дормэс лежал, прислонившись головой к скале, надвинув на глаза шляпу и глядя вниз на райскую красоту долины Бьюла; он не мог бы поручиться, но ему казалось, что он видит сияющего ангела, летящего над долиной. Женщины – Эмма, Мэри Гринхилл, Сисси, жена Филиппа и Лоринда Пайк – раскладывали провизию: бобы с хрустящей соленой свининой, жареных цыплят, картофель, печенье к чаю, желе из диких яблок, салат, пирог с изюмом – на красной с белым скатерти, постеленной на ровной скале.

Если бы не стоявшие тут же автомобили, можно было бы вообразить Новую Англию 1885 года: туго зашнурованных женщин в плоских шляпках и закрытых платьях с турнюрками, мужчин в твердых соломенных шляпах с развевающимися лентами, с бакенбардами, – борода Дормэса не была бы подстрижена и развевалась бы, как свадебная вуаль. Когда доктор Гринхилл привел еще и кузена Генри Видера, рослого, но очень застенчивого фермера дофордовских времен, в опрятном полинялом комбинезоне, то время словно стало «непродажным», устойчивым, безмятежно ясным.

И от беседы веяло умиротворяющей обыденностью, приятной скукой времен королевы Виктории. Как бы ни тревожился Дормэс по поводу настоящего момента, как бы легкомысленно ни мечтала Сисси о любезных ее сердцу Джулиэне Фоке и Мэлкоме Тэзброу, здесь не было ничего современного и нервного, ничего, что отдавало бы Фрейдом, Адлером, Марксом, Бертраном Расселом или другими кумирами 1930-х годов. Все слушали, как матушка Эмма болтала с Мэри и Мериллой о том, что ее розы повредило заморозками, а новые молодые клены обгрызла полевая мышь, и как трудно добиться, чтобы Шэд Ледью приносил достаточно дров для камина, и как жадно поглощает Шэд за завтраком у Джессэпов свиные отбивные с жареным картофелем и пирог.

И потом – красоты природы! Женщины восхищались расстилавшимся перед ними видом, как влюбленные, проводящие медовый месяц у Ниагарского водопада.

Дэвид и Бак Титус играли теперь в корабль на скале, которая служила им мостиком; Дэвид был капитаном Попи, а Бак – боцманом; и даже доктор Гринхилл – неугомонный воитель, постоянно раздражающий окружное управление здравоохранения своими докладами о неряшливом и грязном состоянии приюта для бедных фермеров и о зловонии в окружной тюрьме, – размяк на солнышке и с величайшим вниманием следил за злополучным маленьким муравьем, бегавшим взад и вперед по веточке. Его жена Мэри, любительница игры в гольф, участница теннисных состязаний, организатор веселых, не слишком хмельных вечеринок с коктейлями в сельском клубе, одетая в модный коричневый костюм с зеленым шарфиком, по-видимому, охотно вернулась на время в уютную домашнюю атмосферу, созданную ее матерью, и с величайшей серьезностью обсуждала способ приготовления сэндвичей с сельдереем и рокфорским сыром на поджаренных бисквитах. Она снова была красивой «старшей дочерью Джессэпа» в белом доме с мансардой.

И Фулиш, лежавший на спине, бессмысленно задрал вверх все четыре лапы, был самым идиллически старомодным из всех.

Разговор ненадолго принял серьезный оборот, лишь когда Бак Титус проворчал, обращаясь к Дормэсу:

– В наши дни появилось множество мессий, и каждый так и норовит схватить тебя за горло... Бэз Уиндрик, и епископ Прэнг, и отец Кофлин, и доктор Таунсенд (хотя он, кажется, вернулся в Назарет), и Эптон Синклер, и преподобный Фрэнк Бухман, и Бернард Макфадден, и Уильям Рэндольф Херст, и губернатор Толмедж, и Флойд Олсон, и... Знаете, я уверен, что самый лучший мессия из всех – это негр, отец Дивайн. Он не обещает кормить обездоленных в течение десяти лет – вместе со спасением он сразу раздает жареные куриные ножки и шейки. Как насчет того, чтобы сделать его президентом?

Внезапно неизвестно откуда появился Джулиэн Фок. Этот молодой человек, первокурсник Амхерстского университета, внук епископального пастора, после смерти своих родителей живший вместе со своим дедом, был в глазах Дормэса самым сносным из всех ухаживающих за Сисси молодых людей, – светловолосый, крепкий, с приятным узким лицом и пронзительными глазами. Он называл Дормэса «сэр» и в противоположность большинству юношей Форта, помешанных на радио и автомобилях, читал книги, по собственному желанию читал Томаса Вулфа, Уильяма Роллинса, Джона Стрейчи, Стюарта Чэйза и Ортегу. Кого предпочитала Сисси, его или Мэлкома Тэзброу, отец не знал. Мэлком был выше и шире Джулиэна и ездил на собственном лимузине, Джулиэн же мог только брать на время у деда его старый, дешевый автомобиль.

Сисси и Джулиэн добродушно пререкались по поводу умения Алисы Эйлот играть в триктрак, а Фулиш почесывался на солнцепеке.

Но Дормэс был настроен далеко не идиллически. Он был встревожен, он многое знал. В то время как все шутили: «Когда же Папа будет выступать по радио?» и «Что он будет делать: исполнять песенки или возвещать о хоккее?» – Дормэс настраивал взятый с собой ненадежный приемник. Он думал, что окажется в приятной атмосфере тихого семейного уюта, так как поймал программу из старинных песен, и вся компания, включая кузена Генри Видера, который питал тайное пристрастие к бродячим скрипачам, народным танцам и комнатным органчикам, тихонько подпевала «Веселого трубадура», «Девушку из Афин» и «Милую Нелли Грэй». Но когда диктор сообщил, что песенки исполняются по заказу фирмы «Тойли-Ойли, Натуральное домашнее слабительное» и что исполнители – секстет молодых людей с ужасным названием «Смягчители», Дормэс резко выключил радио.

– Что случилось, папа? – закричала Сисси.

– «Смягчители»!! Боже мой, эта страна заслуживает того, что ей вскоре предстоит! – огрызнулся Дормэс. – Может быть, нам действительно нужен такой Бэз Уиндрип.

Наступил час (его следовало бы возвестить соборными колоколами) еженедельной речи епископа Пола Питера Прэнга.

Этот голос, исходивший из душного, пропахшего шерстяными священническими одеждами кабинета в Персеполисе (Индиана), достигал отдаленнейших звезд; он облетал весь мир со скоростью 186 тысяч миль в секунду; он с шумом врывается в каюту китобойного судна в темном полярном море; в контору, отделанную дубовой панелью, похищенной из Ноттингэмширского замка, которая находилась на шестьдесят седьмом этаже здания на Уолл-стрит; в помещение министерства иностранных дел в Токио; в скалистую ложбину, осененную белыми березами, на горе Террор, в Вермонте.

Епископ Прэнг говорил как обычно – с торжественной доброжелательностью, с мужественной силой, которые придавали его личности, волшебной возникавшей перед всеми на невидимом воздушном пути, одновременно и властность и обаяние; и каковы бы ни были его намерения, слова его были ангельские:

– Друзья мои, радиослушатели, мне удастся говорить с вами еще только шесть раз до съездов, которые решат судьбу нашего растерявшегося народа; наступило время действовать, да, действовать! Довольно слов! Разрешите мне напомнить вам некоторые отдельные фразы из шестой главы пророка Иеремии, которые приобретают пророческий смысл в этот час отчаянного кризиса, наступившего в Америке:

«Собирайтесь, дети Вениаминовы, и бегите из сердца Иерусалима... Готовьте против нее войну... вставайте, и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется к вечеру, уже ложится тень вечера. Встаньте! Пойдем ночью и разорим ее чертоги... Я преисполнен гнева господня; не могу более терпеть; изолью его на детей на улице и на собрание юношей; взяты будут муж с женою, и возмужалый вместе с престарелым... Я простру руку мою на жителей земли сей,

говорит господь. Ибо все, от малого до большого, предались корыстолюбию, и от пророка до священника все поступают коварно... говоря: «Мир! Мир!» – хотя и нет мира».

Так сказано в Библии о старом времени... Но это сказано и об Америке 1936 года!

У нас нет мира! Прошло уже больше года с тех пор, как «Лига забытых людей» предупреждала политических деятелей и все правительство, что нам до смерти надоело положение обездоленных и что наконец нас больше пятидесяти миллионов; что мы не хнычущая толпа: мы обладаем волей, голосом и правом голосовать, чтобы заставить с собой считаться! Мы достаточно ясно и определенно заявили всем политическим деятелям, что мы требуем – да, да, мы именно требуем – определенных мероприятий и что мы не потерпим никакого отлагательства. Снова и снова требовали мы, чтобы как право распоряжаться кредитами, так и право выпускать деньги было безоговорочно отнято у частных банков; чтобы солдаты не только получили пенсию, которую они заработали себе кровью и страданиями в 1917 и 1918 годах, но чтобы установленная сумма была теперь удвоена; чтобы все чрезмерные доходы были строго сокращены и право наследства ограничено, – дабы обеспечить содержание наследников только в юном и престарелом возрасте; чтобы рабочие и фермерские союзы были не только признаны как орудие для совместного улаживания недоразумений, но чтобы они были превращены, наподобие синдикатов в Италии, в официальные органы правительства, представляющие трудящихся; и чтобы международный еврейский капитал, и международный еврейский коммунизм, и анархизм, и атеизм были – со всей суровой торжественностью и строгой непреклонностью, на какие способен наш великий народ, – лишены возможности действовать. Те из вас, кто слушал мои прежние выступления, знают, что я, вернее, что «Лига забытых людей» не имеет ничего против отдельных евреев; мы гордимся тем, что в числе наших директоров имеются раввины, но подрывные международные организации, которые, к несчастью, в большинстве своем состоят из евреев, должны быть вытравлены каленым железом и стерты с лица земли.

Эти требования мы предъявили, – и как долго, о господи, как долго все эти политические деятели и ухмыляющиеся крупные капиталисты делали вид, что они прислушиваются к нашему голосу, что они повинуются! «Да, да, господа из «Лиги забытых людей», мы понимаем, дайте только нам время!» Больше мы не дадим им времени!!! Их время кончилось, как и вся их нечестивая власть!

Консервативные сенаторы, Торговая палата Соединенных Штатов, крупнейшие банкиры, короли стальной, автомобильной, электрической и угольной промышленности – все они подобны королям из династии Бурбонов, о которых было сказано, что «они ничего не забыли и ничему не научились».

Но ведь те умерли на гильотине!

Может быть, мы сумеем быть милостивее к нашим Бурбонам. Может быть – может быть, – нам удастся спасти их от гильотины, от виселицы, от расстрела. Может быть, мы при нашем новом режиме, при нашем «новом курсе», который действительно будет новым курсом, а не наглым экспериментом, – может быть, мы ограничимся тем, что заставим этих важных финансистов и политиков посидеть на жестких стульях, в мрачных конторах, работая бесконечное число часов пером или стуча на пишущей машинке, как это делали для них в течение стольких лет многочисленные рабы в белых воротничках.

Теперь настал, как говорит сенатор Берзелиос Уиндрип, «час атаки». Мы перестали бомбардировать невнимательные уши этих лицемеров. Мы выходим из окопов, чтобы броситься в атаку. Наконец после долгих месяцев совместных совещаний руководители «Лиги забытых людей» и я сам заявляем, что на предстоящем съезде Демократической партии мы без малейших колебаний... – слушайте! Слушайте! У нас на глазах совершается история! – закричал Дормэс своей невнемлющей семье.

– ...отдадим миллионы голосов членов Лиги, для того чтобы провести кандидатуру сенатора Берзелиоса Уиндрипа... на пост президента от Демократической партии, что означает,

другими словами, что он будет избран и что мы, члены Лиги, выберем его президентом Соединенных Штатов!

Его программа и программа Лиги не во всех деталях совпадают. Но он принял на себя обязательство считаться с нашими указаниями и советами, и, во всяком случае, до избрания мы будем безоговорочно поддерживать его – своими деньгами, своей преданностью, своими голосами... и своими молитвами. И пусть господь бог ведет его и нас через пустыню несправедливой политики и грязного, алчного капитала к сверкающему великолепию земли обетованной! Да благословит вас бог!

Миссис Джессеп весело заметила:

– Знаешь, Дормэс, этот епископ совсем не фашист; он настоящий красный радикал. Но неужели это его заявление может иметь какое-нибудь значение?

«Ну и ну!» – думал Дормэс. Он прожил с Эммой тридцать четыре года, и не чаще двух раз в год на него находило желание убить ее. Он мягко сказал:

– Оно не означает ничего особенного, кроме того, что через несколько лет под видом заботы обо всех нас диктатура Бэза Уиндрипа будет регламентировать все решительно, начиная с того, где нам молиться, и кончая тем, какие детективные романы нам читать.

– Безусловно, так оно и будет! Иногда мне хочется стать коммунистом! Забавно, что именно мне, потомку тупоголовых голландских обитателей долины реки Гудзон! – воскликнул Джулиэн Фок.

– Замечательная идея! Из огня Уиндрипа и Гитлера да в полымя нью-йоркского «Дейли уоркер», и Сталина, и пулеметов. И еще пятилетнего плана – мне бы, наверно, было сказано, что по решению комиссара каждая из моих кобыл должна давать шесть жеребят в год! – сердито проворчал Бак Титус; а доктор Фаулер Гринхилл принялся их вышучивать:

– Ах, папа, и вы тоже, Джулиэн, юный параноик, вы же просто помешались! Диктатура?! Приходите лучше ко мне на прием и разрешите мне освидетельствовать ваши головы! Америка – это единственная свободная страна на земле! И, кроме того, наша страна слишком огромна для переворота! Нет, нет! Здесь, у нас, это невозможно!

VI

Я бы скорее стал последователем какой-нибудь безумной анархистки, вроде Эммы Гольдман, если благодаря ей в скромной хижине простолюдина прибавилось бы маисовых лепешек, бобов и картофеля, – чем какого-нибудь государственного деятеля стоимостью в двадцать четыре карата, вооруженного университетским образованием и правительственными связями и добывающегося, чтобы мы производили побольше лимузинов. Можете называть меня социалистом или другим бранным словом, только бы вы держали другую ручку пилы и помогали мне перепиливать огромные бревна бедности и нетерпимости.
«В атаку». Берзелиос Уиндрик

Вся семья – и жена, и кухарка миссис Кэнди, и Сисси, и Мэри, в замужестве миссис Фаулер Гринхилл, – считала, что здоровье Дормэса ненадежно, что всякая простуда неминуемо перейдет у него в воспаление легких, что ему полагается носить калоши, есть кашку, поменьше курить и никогда не переутомляться. Его это крайне возмущало; пусть после тяжелого рабочего дня он и шатался от усталости, но стоило ему поспать ночь – и он снова был полон энергии, как динамо-машина, и мог «сделать номер» гораздо быстрее, чем самый живой и молодой репортер.

Он скрывал от них свои развлечения, прятался, как маленький мальчик от родителей; он бессовестно лгал, преуменьшая количество выкуренных папирос; у него была припрятана бутылка бургундского, из которой он регулярно делал глоток – только один глоток, – перед тем как лечь в постель; и если он обещал рано лечь спать, то гасил у себя свет и ждал до тех пор, пока у него не оставалось никаких сомнений, что Эмма уснула, и затем зажигал снова свет, с удовольствием читал до двух часов, свернувшись под красивыми шерстяными одеялами, сотканными на ручном станке на горе Террор; его ноги трепетно подергивались, как у спящего сеттера, всякий раз, когда главный инспектор уголовного розыска, один, без оружия, входил в притон фальшивомонетчиков. Раз в месяц он прокрадывался в кухню часа в три ночи и варил себе кофе, а затем все сам мыл, чтобы ни Эмма, ни миссис Кэнди ничего не узнали. Он думал, что им ни за что не догадаться!

Эти маленькие проделки доставляли ему живейшую радость; в остальном его жизнь была посвящена служению обществу, попыткам заставить Шэда Ледью подравнивать как следует цветочные клумбы, лихорадочному писанию передовиц, которые волновали три процента его читателей в течение нескольких часов – от утреннего завтрака до полудня – и к шести часам уже бесследно забывались.

Иногда, когда Эмма в воскресенье утром приходила к нему поваляться в кровати и ласково обнимала его худые плечи, ей становилось грустно от сознания, что он стареет и слабеет. Его плечи, думала Эмма, стали жалкими, как плечи хрупкого ребенка; Дормэс не догадывался об этих ее печальных мыслях.

Даже перед самым моментом отправления газетного материала в типографию, даже когда Шэд Ледью исчезал на два часа из дому, а потом представлял счет на два доллара за точку газонокосилки, вместо того чтобы самому ее наточить; даже когда Сисси со своей компанией играла внизу на рояле до двух часов ночи, между тем как у него не было ни малейшего желания бодрствовать до утра, Дормэс никогда не бывал раздражительным, исключая лишь промежуток между утренним вставанием и первой живительной чашкой кофе.

Умудренная опытом Эмма бывала очень довольна, когда он набрасывался на всех до завтрака. Это означало, что он в бодром настроении и полон интересных мыслей.

После того как епископ Прэнг преподнес корону сенатору Уиндрипу, по мере того как приближалось время выборов кандидата в президенты, Эмма все больше тревожилась. Дормэс молчаливо ждал утреннего завтрака, глаза у него были воспаленные, словно его измучили тревога и бессонница. Он теперь никогда не капризничал. Она охотно послушала бы, как он ворчит:

– Что эта идиотка, миссис Кэнди, соберется когда-нибудь подать кофе? Сидит, наверно, читает Ветхий Завет! И, может быть, дорогая моя, ты соизволишь сказать мне, почему это Сисси никогда не встает к завтраку, даже в тех редких случаях, когда она легла не позже часа ночи? Да, посмотри только на эту дорожку! Она вся покрыта увядшими цветами. Негодяй Шэд, наверное, не подметал ее уже с неделю. Клянусь, я выставлю его, и сегодня же!

Эмма была бы теперь счастлива услышать эти знакомые зверские звуки и прокудахтать в ответ:

– Ах, это действительно ужасно! Я пойду скажу миссис Кэнди, чтобы она поторопилась с кофе!

Но он сидел молчаливый, бледный и развешивал номер «Дейли Информер» с таким видом, как будто боялся увидеть новости, поступившие в газету после того, как он в десять часов ушел из редакции.

Когда Дормэс в 1920 году выступил за признание России, Форт Бьюла был обеспокоен подозрением, что он становится отъявленным коммунистом.

Сам-то он прекрасно понимал свою позицию, знал, что весьма далек от левого крыла радикалов, и в лучшем случае он умеренный, вялый и, пожалуй, немного сентиментальный либерал, которому противны напыщенность и тяжеловесный юмор общественных деятелей и тот зуд популярности, который заставляет прославленных проповедников, красноречивых педагогов, актеров-любителей, богатых женщин со склонностью к общественной деятельности или к спорту и вообще богатых женщин кокетливо приходить к редакторам газет с фотографиями под мышкой и с притворной улыбкой лицемерного смирения на лице. Но всякое проявление жестокости, и нетерпимости, и презрения счастливого к несчастному рождало в нем не только отвращение, но и горячую ненависть.

Он смутил и встревожил всех других редакторов в северной части Новой Англии, когда заявил о невинности Тома Муни, когда усомнился в виновности Сакко и Ванцетти, когда осудил наше вторжение на Гаити и в Никарагуа, когда выступил за повышение подоходного налога, когда писал статьи в благожелательном тоне о социалистическом кандидате Нормане Томасе во время кампании 1932 года (сам он, говоря по правде, голосовал потом за Франклина Рузвельта), и когда, наконец, поднял шум – правда, лишь в местном масштабе и без каких-либо последствий – по поводу рабских условий труда фермеров в южных штатах и сборщиков фруктов в Калифорнии¹¹. Он даже высказал в одной передовице мысль, что когда в России все наладится и ее фабрики, и железные дороги, и гигантские фермы будут действительно хорошо работать, ну, скажем, в 1945 году, то она может, пожалуй, стать самой привлекательной

¹¹ В 1915 году морская пехота США фактически оккупировала Гаити и оставалась там до 1934 года. В 1927 году США вмешались в гражданскую войну в Никарагуа и послали туда морскую пехоту, «наблюдавшую» за проведением президентских выборов и способствовавшую приходу к власти американских ставленников. 18 декабря 1929 года в журнале «Нейшн» было помещено письмо Синклера Льюиса под названием «Закон джунглей», в котором писатель протестовал против беззастенчивого и наглого вмешательства американской морской пехоты в дела суверенных государств Латинской Америки. Он привел циничные высказывания генерала Батлера, рассказывавшего о том, как в Никарагуа военщина США «организовывала выборы» угодных ей людей, а на Гаити проамериканский марионеточный президент, пользуясь покровительством морской пехоты, разогнал парламент. Льюис направил председателю сенатской комиссии по иностранным делам сенатору Бора телеграмму, требуя проведения расследования всех этих фактов. Войска США были выведены из Никарагуа лишь в 1933 году. Интересно, что С. Льюис «отдал» своему герою Дормэсу Джессэпу некоторые факты собственной биографии: в 1927 году вместе с передовыми деятелями американской культуры он протестовал против расправы над Сакко и Ванцетти, требовал освобождения Тома Муни.

страной в мире для (мифического!) среднего человека. Он действительно вляпался тогда с этой передовицей, написанной после второго завтрака, за которым его довело до белого каления тупое кваканье Фрэнка Тэзброу и Р. К. Краули. После этой статьи он прослыл большевиком, и в течение двух дней его газета потеряла сто пятьдесят читателей из пяти тысяч.

И при всем том он был так же далек от большевиков, как Герберт Гувер.

Он был – и прекрасно понимал это – провинциальным буржуазным интеллигентом. В России, полагал он, запрещено все то, что делает его работу приемлемой: уединение, право мыслить и критиковать, кого ему заблагорассудится. Подумать только, что его убеждения могут регулировать крестьяне в форменной одежде! Нет, лучше уж жить в хижине на Аляске, питаясь бобами, имея сотню книг и получая раз в три года новую пару штанов!

Однажды, во время автомобильной поездки с Эммой, он заехал в летний лагерь коммунистов. Большинство из них были евреи из городского колледжа или аккуратные дантисты в очках, с чисто выбритыми лицами и маленькими усиками. Они горячо приветствовали деревенских жителей из Новой Англии и были рады возможности объяснить им марксистское евангелие (в толковании его они сильно расходились). В некрашеной столовой, поглощая макароны с сыром, они мечтали о черном хлебе Москвы.

Впоследствии Дормэс с усмешкой вспоминал, до чего же они похожи на обитателей лагеря Христианской Ассоциации Молодых Людей, расположенного через двадцать миль по той же дороге, – такие же пуритане, такие же неудачливые проповедники и так же увлекаются глупыми играми с резиновым мячом. Только раз он проявил опасную активность: он поддержал забастовку рабочих каменоломни Фрэнсиса Тэзброу. Люди, которых Дормэс знал в течение многих лет, – солидные граждане, вроде инспектора школ Эмиля Штаубмейера и Чарли Бетса, владельца мебельного склада, – поговаривали о том, чтобы «выставить его вон из города». Тэзброу ругал его повсюду даже теперь, восемь лет спустя. Забастовка провалилась, и главарь забастовщиков коммунист Карл Паскаль был арестован за «подстрекательство к насилию». Когда Паскаль, отличный механик, вышел из тюрьмы, он нанялся в небольшой гараж в Форте Бьюла, к болтливому воинственному польскому социалисту Джону Полликопу, который благоволил к нему.

Паскаль и Полликоп целыми днями шумно нападали друг на друга – битва между социал-демократией и коммунизмом не прекращалась, – и Дормэс частенько заезжал к ним в гараж, чтобы еще больше их раззадорить. И вот с этим не могли примириться ни Тэзброу, ни Штаубмейер, ни банкир Краули, ни адвокат Китгерик.

Не будь Дормэс потомком трех поколений добропорядочных вермонтских налогоплательщиков, быть бы ему теперь неимущим бродячим типографом... И тогда его вряд ли тревожили бы так горести неимущих.

Консервативно настроенная Эмма сердилась:

– Не возмущайся, зачем ты дразнишь людей, делая вид, что тебе очень нравятся такие замусоленные механики, как этот Паскаль (я подозреваю даже, что ты втайне питаешь нежность к Шэду Ледью!), когда ты вполне мог бы встречаться с порядочными, зажиточными людьми, как, например, Фрэнк! И что только они думают о тебе! Они ведь не понимают, что ты совсем не социалист, а просто хороший, добросердечный, серьезный человек. Ох, надо бы поколотить тебя, Дормаус!..

Ему не нравилось, когда его звали Дормаусом¹².

Но это позволяли себе только Эмма и иногда, по ошибке, Бак Титус. Так что это было вполне терпимо.

¹² Игра слов: Дормэс (Doremus) – имя; Дормаус (dormouse) – соня, животное из породы грызунов.

VII

Когда меня насильно вытаскивают из кабинета и уводят от семейного очага на собрания, которые я ненавижу, я стараюсь сделать свою речь простой и ясной, как речь младенца Иисуса, обращенная к ученым в храме. «В атаку». Берзелиос Уиндрип

В горах гремело, тучи заволакивали долину Бьюла, необычайная тьма покрывала все черным туманом, зарево молний вырывало из тьмы крутые склоны холмов, и тогда казалось, что это обломки скал, взлетевших на воздух.

В последних числах июля Дормэс проснулся однажды утром при таком неистовстве небес.

Как приговоренный к смерти вскакивает с мыслью: «Сегодня меня повесят!» – так Дормэс в смятении сел на постели, вспомнив, что сегодня сенатора Берзелиоса Уиндрипа изберут, вероятно, кандидатом на пост президента.

Съезд Республиканской партии уже закончился избранием Уолта Троубриджа. На съезде Демократической партии в Кливленде – при большой затрате джина, клубничной содовой и пота – уже заслушали доклады комиссий, уже сказали подходящие слова, обращаясь к государственному флагу, и с разрешения председателя Джима Фарлея заверили тень Джефферсона, что он останется доволен тем, что произойдет в Кливленде на этой неделе. Перешли к выборам кандидата. Сенатора Уиндрипа предложил полковник Дьюи Хэйк, член конгресса и влиятельная персона в Американском легионе. Кандидатуры таких любимцев некоторых штатов, как Эл Смит, Картер Глэсс, Уильям Макэду и Корделл Хэлл, встречались одобрительными аплодисментами и тут же снимались. Теперь, к двенадцатой баллотировке, осталось четыре соперника, и они шли по большинству голосов: сенатор Уиндрип, президент Франклин Д. Рузвельт, сенатор Робинсон из штата Арканзас и секретарь департамента труда Фрэнсис Перкинс.

На съезде было немало драматических моментов. Дормэс Джессэп ясно представлял их себе по истерическим радиопередачам и бюллетеням «Ассошиэйтед пресс», – горячие и еще дымящиеся, они падали на его стол в редакции «Информера».

В честь сенатора Робинсона продефилировал духовой оркестр Арканзасского университета – капельмейстер ехал впереди в старинном, запряженном лошадей экипаже, оклеенном громадными плакатами: «Защищайте конституцию!», «Робинсон – за оздоровление».

Имя мисс Перкинс вызвало овацию, продолжавшуюся два часа, – при этом делегаты маршировали со знаменами своих штатов; а имя президента Рузвельта вызвало овацию на целых три часа, причем чествование носило весьма сердечный и дружественный характер, – делегаты знали, что мистеру Рузвельту и мисс Перкинс несвойственны мишурный блеск и грубое шутовство и в силу этого они не могут иметь успеха в сей критический момент всенародной истерии, когда избирателям требуется такой цирковой трюкач, как «бунтарь» сенатор Уиндрип.

Демонстрация в честь Уиндрипа, заранее научно разработанная Ли Сарасоном, его секретарем, уполномоченным по вопросам рекламы и доверенным философом, ни в чем не уступала остальным. Сарасон достаточно внимательно читал Честертона и поэтому знал, что только одна вещь больше самых больших вещей, – это вещь настолько маленькая, что ее нетрудно увидеть и понять.

Выдвинув кандидатуру Бэза, полковник Дьюи Хэйк закончил речь восклицанием: «Еще два слова! Слушайте! У сенатора Уиндрипа есть к собравшимся особая просьба: чтобы на этом историческом собрании вы не теряли времени на его чествование. Никакого чествования! Мы, члены «Лиги забытых людей», не нуждаемся в пустых приветствиях и почестях; чего мы хотим – так это внимательно и всерьез рассмотреть вопрос о безотлагательных нуждах

шестидесяти процентов населения Соединенных Штатов. Никаких оваций! И пусть providение наставит нас, когда мы принимаем самое серьезное решение в нашей жизни!»

Когда он кончил, по центральному проходу двинулась процессия. Но это был не парад тысяч. Шел лишь тридцать один человек, и демонстранты несли только три флага и два больших плаката.

Во главе процессии шли два ветерана Гражданской войны – в старых синих мундирах северян, а между ними, держа обоих под руку, представитель южан, в сером. Все трое – тщедушные старички, которым перевалило за девяносто и которые шли, опираясь друг на друга и робко оглядываясь, в надежде, что никто не станет над ними смеяться.

Представитель южан нес пробитое шрапнелью полковое знамя Виргинии, а один из северян высоко подымал потрепанный флаг Первой Миннесоты.

Почтительные аплодисменты, которыми съезд наградил манифестантов других кандидатов, были подобны звуку дождевых капель в сравнении с бурей, приветствовавшей этих трех трясущихся, еле переставляющих ноги стариков.

На трибуне оркестр чуть слышно играл песни времен войны – «Дикси» и «Когда Джонни вернется домой», а посреди зала, стоя на стуле, как простой член делегации своего штата, Бэз Уиндрип кланялся, кланялся, кланялся и пытался улыбнуться, но слезы выступили у него на глазах, и он беспомощно заплакал, и зал заплакал вместе с ним.

За тремя стариками следовало двенадцать легионеров, раненных в 1918 году, – кто спотыкался на деревянных ногах, кто подтягивался на костылях; один безногий – на тележке, но с виду молодежавый и веселый; другой – с черной маской на том, что было когда-то лицом. У одного легионера был огромный флаг, у другого – плакат: «Наши умирающие с голоду семьи должны получить пенсию. Мы требуем только справедливости. Мы хотим в президенты Бэза».

Во главе всех шел нераненый, стройный, бравый и решительный генерал-майор Герман Мейнеке. Старые журналисты не могли припомнить случая, когда бы находящийся на действительной службе военный публично выступал как политический агитатор. Представители печати перешептывались: «Этому генералу здорово влетит, если Бэз не будет избран, но если его выберут, он сделает его, вероятно, герцогом Хобокен».

Вслед за солдатами шли десять мужчин и женщин; сквозь дыры их башмаков просвечивали голые пальцы; облекавшие их жалкие лохмотья утратили от многократной стирки всякое подобие цвета. С ними плелись четверо бледных ребятишек с гнилыми зубами; они несли плакат, гласивший: «Мы живем на пособие. Мы хотим снова стать людьми. Мы хотим Бэза!»

За ними, через интервал в двадцать футов, шел высокий человек – один. Делегаты всячески вытягивали шеи, чтобы рассмотреть, кто это следует за жертвами безработицы, и, увидав кто, они все повскакали с мест, заревели, захлопали, потому что одинокий человек был... Очень немногие из толпы видели его в лицо, но всем сотни раз попадалось его изображение в газетах; то он был у себя в кабинете, среди беспорядочного нагромождения книг, то на совещании с президентом Рузвельтом и секретарем Икесом, то пожимал руку сенатору Уиндрипу, то стоял перед микрофоном, и рот его зиял, словно черная западня, а рука в истерическом порыве простиралась вперед; все столько раз слышали его голос по радио, что знали его не хуже, чем голоса своих близких; в человеке, входившем через широкий главный вход и замыкавшем процессию в честь Уиндрипа, все присутствующие узнали апостола «Лиги забытых людей» – епископа Пола Питера Прэнга.

После этого съезд четыре часа без передышки чествовал Бэза Уиндрипа.

В подробных описаниях съезда, разосланных газетным бюро вслед за первыми лихорадочными бюллетенями, один энергичный бирмингемский репортер очень убедительно доказывал, что боевое знамя южан, которое нес ветеран конфедератов, взяли напрокат в Ричмондском музее, а знамя северян – у известного мясника в Чикаго, внука генерала Гражданской войны.

Кроме Бэза Уиндрипа, Ли Сарасон никому не сказал, что оба флага были изготовлены на Гестер-стрит в Нью-Йорке в 1929 году для постановки патриотической драмы «Всадник Морган» и что их достали с театрального склада.

До начала всеобщего ликования, едва демонстрация приблизилась к трибуне, ее приветствовала миссис Аделаида Тарр-Гиммич – прославленная писательница, лектор и композитор, неизвестно откуда и как очутившаяся на трибуне и исполнившая на мотив «Янки Дудль» песню собственного сочинения:

Бэз Уиндрип скачет в Вашингтон
На лошади. Вперед!
Он богачей прогонит вон,
Он защитит народ.

Привет:

Бэз, молодчина, так и держать, –
Верни ты надежду людям!
А за другого голосовать
Лишь псина трусливая будет!

Людей Забытых Лигу зря
Топтали, словно пыль, –
В столицу! Там споем, друзья:
«Пора отчистить гниль!»

Еще до полуночи эту веселую боевую песенку исполнили по радио девятнадцать различных примадонн, в первые же сорок восемь часов ее подхватили шестнадцать миллионов менее вокально одаренных американцев, а в развернувшейся затем кампании ее распевали не меньше девяноста миллионов друзей Уиндрипа и тех, кто над ним смеялся.

На протяжении всей предвыборной кампании Бэз Уиндрип беспрерывно развлекался, используя игру слов в песенке, которую о нем сочинили¹³, – Уолту Тробрэджу не удастся попасть в Вашингтон и там отмыться...

Но Ли Сарасон прекрасно понимал, что в дополнение к этому комическому шедевру необходим гимн, более возвышенный по мысли и по духу, приличествующий серьезности американцев, выступивших в крестовый поход.

Уже много позднее, когда чествование Уиндрипа на съезде закончилось и делегаты снова занялись своим основным делом – принялись снова спасать нацию и перегрызать друг другу горло, – Сарасон заставил миссис Гиммич выступить и пропеть вдохновенный гимн, слова которого он сочинил сам в сотрудничестве с одним замечательным хирургом, неким доктором Гектором Макгоблином.

Этот доктор Макгоблин, вскоре ставший очень важной персоной, был таким же специалистом по части медицинской журналистики, рецензирования книг по вопросам воспитания и психоанализа, составления комментариев к философии Гегеля, профессора Гюнтера, Хаустона Стюарта Чемберлена и Лотропа Стоддарда, а также исполнения на скрипке Моцарта, полупрофессионального бокса и написания эпических поэм, каким он был в области практической медицины.

¹³ Игра слов: to go to wash значит и «поехать в Вашингтон», и «пойти мыться».

Доктор Макгоблин! Что за человек!

Ода Сарасона – Макгоблина, озаглавленная «Старый мушкет достаньте», стала для всей банды Уиндрипа тем же, чем была «Джиованецца» для итальянских фашистов, «Хорст Вессель» – для нацистов. Пока шел съезд, миллионы слушали по радио замечательное, густое, как смола, контральто миссис Аделаиды Тарр-Гиммич, распевавшей «Старый мушкет достаньте»:

О, Господь, мы гршили, впадая в лень,
Наше знамя в пыли лежало, –
Но тени былого зовут: «Час настал,
Поднимайся, старый и малый!»
О, Линкольн великий, веди нас,
Старый Ли, в нас отвагу вдохни,
И в суровый час не покиньте нас,
Чтоб на крыльях смелых
Мы в битву летели,
Точно в годы Великой Войны!

Припев:

Погляди, как горят у парней глаза,
Как бесстрашны девушки наши!
В бой ведут за собой
Танков яростный строй,

Самолеты – небесные стражи.
Доставай же мушкет старинный,
В сердце прежний огонь разожги!
Наш дом любимый – в руинах,

Бедный, сирый, унылый...
Так восстань же, Америка, и покори
Весь мир своей мощной силой!

«Великолепный балаган! Непревзойденный», – думал Дормэс, просматривая сообщения «Ассошиэйтед пресс» и слушая радио, которое он временно установил в своей конторе. А значительно позднее он думал: «Когда Бэз приступит к делу, не будет парадов раненых солдат. Фашисты понимают, что это окажет дурной психологический эффект. Все эти бедняги будут запрятаны в соответствующие заведения, а на сцену выйдут здоровые молодые люди в форме – скот для убоя».

Затихшая было гроза снова разразилась с угрожающей силой.

Весь день после полудня съезд занимался баллотировкой кандидата в президенты без существенных изменений в соотношении голосов. Около шести часов представитель мисс Перкинс передал ее голоса Рузвельту, который догнал тогда сенатора Уиндрипа. Было похоже, что они будут бороться всю ночь, и часов в десять вечера Дормэс, крайне усталый, ушел из редакции. Его не привлекала в этот вечер мирная, чересчур женственная атмосфера, царившая у него дома, и он заехал к своему другу отцу Пирфайксу. У него он застал в достаточной мере мужскую компанию. Там был преподобный мистер Фок. Смуглый, сильный молодой Пирфайкс и седовласый старик Фок часто работали вместе, любили друг друга и сходились во взглядах на преимущества безбрачия духовенства и почти на все остальные догматы, исклю-

чая догмат о верховной власти римского папы. С ними были Бак Титус, Луи Ротенстерн, доктор Фаулер Гринхилл и банкир Краули, финансист, весьма поощрявший вольные интеллектуальные беседы, что не мешало ему в присутственные часы отказывать в кредите фермерам и лавочникам, находившимся в отчаянном положении.

Был там и Фулиш: собака почуяла в это грозное утро тревогу своего хозяина, пошла за ним в редакцию и в течение всего дня рычала на Хэйка, Сарасона и миссис Гиммич, выступавших по радио, и была, по-видимому, глубоко убеждена в том, что ей следует изжевать все эти тонкие листки с отчетом о съезде.

Гораздо больше собственной холодной гостиной, с ее белыми панелями и портретами покойных вермонтских знаменитостей, нравился Дормэсу небольшой кабинет отца Пирфайкса: в нем чувствовались церковность и отсутствие коммерческого духа, о которых свидетельствовали распятие, гипсовая статуэтка Богородицы и кричаще красно-зеленая итальянская картина, изображавшая папу; и одновременно дубовое бюро с крышкой, стальной регистратор и сильно подержанная портативная пишущая машинка говорили о практичности отца Пирфайкса. Это была пещера благочестивого отшельника, но с кожаными стульями и великолепным коньяком.

Часы шли; все восемь (Фулишу дали в качестве напитка молоко) потягивали каждый свое и слушали радио; съезд баллотировал яростно и бесполезно, — этот съезд происходил на расстоянии шестисот миль от них, шестисот миль одетой туманом ночи, но каждое слово, каждый насмешливый возглас доходили до кабинета священнослужителя в ту же секунду, когда их слышали в зале в Кливленде.

Экономка отца Пирфайкса (к великой досаде местных протестантов, любивших посплетничать, этой женщине было шестьдесят пять лет, а ее хозяину — тридцать девять) вошла с яичницей и холодным пивом.

— Когда моя дорогая жена была жива, она в полночь гнала меня спать, — вздохнул доктор Фок.

— Моя то же самое! — сказал Дормэс.

— И моя, а ведь она из Нью-Йорка, — заметил Луи Ротенстерн.

— Отец Пирфайкс и я — единственные два чудака здесь, ведущие разумный образ жизни, — хвастал Бак Титус. — Холостяки! Можем завалиться спать хоть в штанах, а то и вовсе не ложиться.

На что отец Пирфайкс пробормотал:

— Смешно, Бак, чем только человек не тешится... Вы — тем, что можете ложиться спать в штанах... а мистер Фок, доктор Гринхилл и я — тем, что в иные ночи, свободные от посещения больных, можем лечь в постель без штанов! Луи же... Но слушайте! Слушайте! Кажется, что-то дельное!

Полковник Дьюи Хэйк, предложивший кандидатуру Бэза, довел до всеобщего сведения, что скромность заставила сенатора Уиндрипа удалиться к себе в отель, но что перед уходом он оставил письмо, которое он, Хэйк, хотел бы огласить. И он действительно огласил его.

Уиндрип заявлял в письме, что он хочет изложить свою программу с предельной ясностью, если кто-нибудь не совсем уяснил ее.

В письме говорилось, что он целиком и полностью против банков, но за банкиров, исключая евреев-банкиров, которых не следовало бы и подпускать к финансам; что он подверг тщательному рассмотрению (но еще не уточнил окончательно) различные планы общего значительного повышения заработной платы и значительного снижения цен на все товары; что он на сто процентов за рабочих, но и на сто процентов против забастовок; за то, чтобы Соединенные Штаты так вооружились и так овладели производством кофе, сахара, духов, шерстяных тканей и никеля (вместо того чтобы ввозить их из-за границы), чтобы они могли бросить вызов всему миру, и что, наконец, если этот мир будет так дерзок, что, в свою очередь, бросит

вызов Америке, то он, Бэз, не отказывается взять его в свои руки и навести в нем порядок. С каждой минутой назойливое бесстыдство радио казалось Дормэсу все более отвратительным, а между тем горные склоны спали, окутанные густой тьмой летней ночи; и Дормэс подумал о мазурке светляков, о ритмичном пении сверчков, подобном ритмическому вращению земли, о сладостных ветерках, уносивших зловоние сигар и пота, и пьяного дыхания, и жевательной резинки, которое, казалось, доносилось сюда со съезда на волнах эфира вместе с речами.

Было уже совсем светло, и отец Пирфайкс (не по сану разоблачившись – без сюртука и в домашних туфлях) только что принес поднос с луковым супом и куском сырого мяса для Фулиша, когда оппозиция Бэза окончательно сдалась, и в следующей же баллотировке сенатор Берзелиос Уиндрип был поспешно проведен кандидатом Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Дормэс, Бак Титус, Пирфайкс и Фок были в первый момент слишком удручены и поэтому молчали; то же происходило, по-видимому, и с псом Фулишем, потому что с момента, когда выключили радио, он лишь робко ударил несколько раз хвостом по полу.

Р. К. Краули возликовал:

– Что ж, я всю жизнь голосовал за Республиканскую партию, но это такой человек, что... Ладно, буду голосовать за Уиндрипа!

Отец Пирфайкс колко заметил:

– А я с тех пор, как приехал из Канады и натурализовался, всегда голосовал за Демократическую партию, но на сей раз я буду голосовать за кандидата Республиканской партии. А вы, друзья?

Ротенстерн молчал. Ему не нравилось отношение Уиндрипа к евреям. Люди, которых он лучше всего знал, – разве они не американцы? Ведь Линкольн и для него – главное божество.

– Что до меня, – проворчал Бак, – то я, конечно, буду голосовать за Уолта Тробрайда.

– И я, – сказал Дормэс. – Хотя нет! Я не стану голосовать ни за того, ни за другого! У Тробрайда нет шансов на успех. Я думаю раз в жизни позволить себе роскошь ни с кем не связываться и голосовать за запрещение спиртных напитков, или за здоровое диетическое питание, или за что-нибудь еще, имеющее хоть какой-нибудь смысл!

Был уже восьмой час, когда Дормэс возвратился в это утро домой, и, как ни странно, Шэд Ледью, который должен был начинать работу в семь часов утра, был в семь уже на месте. Обычно он не покидал своей холостяцкой хижинки в нижней части города раньше десяти-одиннадцати часов, но в это утро он явился вовремя и усердно колотил щепу для растопки. («Ну да, – подумал Дормэс, – все понятно: такая работа в столь ранний час должна разбудить весь дом».) Шэд был высокий и неуклюжий парень; его рубаха промокла от пота, и, как всегда, ему не мешало бы побриться. Фулиш зарычал на него. Дормэс подозревал, что он иногда бьет Фулиша. Ему хотелось бы отдать дань уважения Шэду за его потную рубаху, честный труд и прочие суровые добродетели, но, даже будучи американским либералом и филантропом, Дормэс не всегда удерживался на высоте лонгфелловского «Деревенского кузнеца» плюс марксизм иногда отступал от этой строгой позиции, допуская, что и среди представителей физического труда должен быть какой-то процент негодяев и обманщиков, которых, как известно, так безобразно много среди людей, имеющих свыше 3500 долларов годового дохода.

– А я сидел всю ночь и слушал радио, – промурлыкал Дормэс. – Знаете, что демократы выбрали сенатора Уиндрипа?

– Верно? – прорычал Шэд.

– Как же! Только что. За кого вы намерены голосовать?

– Я? Сейчас я расскажу вам, мистер Джессэп.

Шэд встал в позу, опершись на топор. Иногда он умел быть любезным и снисходительным даже к этому маленькому человеку, ничего не смыслившему ни в охоте на енотов, ни в азартных играх.

– Я буду голосовать за Бэза Уиндрипа. Он обещал устроить так, что на долю каждого сразу же придется по четыре тысячи монет, и тогда я займусь разведением цыплят. О, я сумею заработать на цыплятах кучу денег! Я еще покажу кое-кому из этих, которые воображают, что они очень богаты!

– Но, Шэд, ведь у вас дело шло не особенно удачно, когда вы пробовали разводить цыплят здесь, у нас в сарае. Вы – хм! – вы, мне кажется, так плохо следили за ними, что зимой там замерзала вода, и они все погибли, если вы помните.

– Ах, те? Подумаешь! Черт с ними! Их было слишком мало. Я слишком высоко ценю свое время, чтобы возиться с какой-нибудь дюжиной-другой цыплят! Когда у меня их будет пять-шесть тысяч штук – дело другое, тогда я вам покажу! Будьте уверены! – И покровительственным тоном: – Бэз Уиндрип – о'кей!

– Очень рад, что он пользуется вашим одобрением.

– А? – И Шэд нахмурился.

Но когда Дормэс медленно поднимался на заднее крыльцо, он слышал, как Шэд тихо и насмешливо проговорил ему вслед:

– О'кей, хозяин!

VIII

Я отнюдь не претендую на чрезмерную образованность, разве только в смысле душевной чуткости и умения понять горести и тревоги всякого порядочного человека. Как бы то ни было, я прочел всю Библию, от корки до корки, как говорят на родине моей жены, в Арканзасе, не меньше одиннадцати раз; я прочел все юридические книги, когда-либо напечатанные; что же до современников, то я не думаю, чтобы я пропустил многое из великих творений Брюса Бартона, Эдгара Геста, Артура Брисбейна, Элизабет Диллинг, Уолтера Питкина и Уильяма Д. Пелли.

Этого последнего я уважаю не только за его отличные охотничьи рассказы и за капитальный труд по исследованию загробной жизни, с очевидностью доказавший, что только слепые безумцы могут сомневаться в личном бессмертии, но также и за его самоотверженную работу на благо общества по созданию организации «Серебряные рубашки». Эти истые рыцари, хотя на их долю и не выпало заслуженного успеха, имели мужество отважно выступить против предательских, подстрекательских, издевательских и злопыхательских козней красных радикалов и других разновидностей большевиков, непрерывно угрожающих американским устоям – Свободе, Высокой заработной плате и Всеобщей безопасности.

У этих людей есть вдохновенные идеалы, и сейчас для литературы самое время проповедовать всем ясные, быющие прямо в цель, волнующие сердца идеалы!

«В атаку». Берзелиос Уиндрип

В первую же неделю предвыборной кампании сенатор Уиндрип обнародовал свою программу, выпустив знаменитую прокламацию «Пятнадцать тезисов победы «Лиги забытых людей». Эти пятнадцать тезисов, сформулированные Уиндрипом (а может быть, и Ли Сарасоном или Дьюи Хэйком), гласили:

«1. Всеми финансами страны, включая деньги, страховые полисы, акции, облигации и ипотечные закладные, должен целиком и полностью распоряжаться Федеральный центральный банк, принадлежащий правительству и подчиняющийся правлению, назначенному президентом; это правление должно быть правомочно, не обращаясь за разрешением в конгресс, издавать любые постановления, регулирующие финансовые вопросы. Впоследствии, когда это окажется целесообразным, правление рассмотрит вопрос о национализации на благо народа всех рудников, нефтяных промыслов, гидроэлектростанций, всех предприятий коммунального значения, а равно транспорта и средств связи.

2. Президент назначает комиссию, состоящую поровну из работников физического труда, предпринимателей и представителей общественности, для решения вопроса о том, какие рабочие союзы полномочны представлять интересы рабочих, и для осведомления органов власти обо всех организациях, претендующих на звание «рабочих организаций», будь то компанейские союзы или же «Красные союзы», руководимые коммунистами и так называемым Третьим интернационалом. Возглавлять признанные должным образом союзы будут бюро, состоящие из назначаемых правительством лиц. Им и будет принадлежать решающий голос при обсуждении трудовых споров. В дальнейшем аналогичному рассмотрению и официальному признанию будут подлежать и фермерские организации. Таковое возвышение Рабочего должно подчерк-

нать, что «Лига забытых людей» является главным оплотом против угрозы разрушительного и чуждого Америке радикализма.

3. В противоположность учению красных радикалов с их преступной экспроприацией нажитого трудом имущества, обеспечивающего человеку спокойную старость, наша Лига и партия гарантируют частную инициативу и право частной собственности на все времена.

4. Глубоко убежденные в том, что только с помощью всемогущего бога, которому воздаем хвалу, мы, американцы, можем сохранить нашу мощь, мы гарантируем всем полную свободу вероисповедания, предусматривая, однако, что атеистам, агностикам, поклонникам черной магии и евреям, отказывающимся признать Новый Завет, а также лицам любого вероисповедания, отказывающимся принести клятву на верность флагу, будет запрещено занимать какую-либо общественную должность либо работать в качестве учителя, преподавателя, адвоката, судьи или врача, за исключением области акушерства.

5. Чистый годовой доход на одно лицо будет ограничен суммой в 500 000 долларов. Накопленное состояние не может ни в каком случае превышать суммы в 3 000 000 долларов на одно лицо. Никто не имеет права на протяжении всей своей жизни наследовать состояние, или же несколько различных состояний, превышающих в общей сложности 2 000 000 долларов. Все доходы и имущество, превышающие названные суммы, будут конфисковываться федеральным правительством и использоваться на пособия и административные расходы.

6. В целях решительной борьбы с военными прибылями подлежат конфискации все дивиденды сверх шести процентов, получаемые от производства, распределения или продажи в военное время всякого рода оружия, амуниции, самолетов, кораблей, танков и других средств, непосредственно применяемых на войне, а также продуктов питания, тканей и всяких других товаров, поставляемых американской или любой союзной армии.

7. Наше вооружение и размеры наших военных и морских сил будут неизменно возрастать до тех пор, пока они не сравняются по всякому виду средств обороны с военной мощью любой другой страны или империи, отнюдь, однако, их не превышая, так как наша страна не стремится ни к каким завоеваниям. По вступлении нашем в должность Лига и партия будут считать это дело своей первой обязанностью, наряду с выпуском воззвания ко всем народам мира, категорически указывающего, что наши вооруженные силы имеют одно лишь назначение – обеспечение всеобщего мира и дружбы.

8. Конгрессу будет предоставлено исключительное право выпуска денег, и немедленно по вступлении нашем в должность конгресс увеличит по крайней мере вдвое имеющийся в настоящее время запас денег, чтобы облегчить денежное обращение в стране.

9. Мы со всей резкостью осуждаем нехристианскую позицию некоторых, прогрессивных в других отношениях народов, подвергающих дискриминации евреев, среди которых многие были самыми стойкими сторонниками Лиги и которые и дальше будут преуспевать и пользоваться всеми правами американцев, коль скоро они будут поддерживать наши идеи.

10. Все негры будут лишены права голоса, права занимать общественные должности, права заниматься адвокатурой, медициной или преподаванием в средней и высшей школе; они будут облагаться стопроцентным налогом на все доходы, превышающие 10 000 долларов в год на семью, вне зависимости от того, заработаны эти деньги или получены каким-либо иным путем. Для того, однако, чтобы оказать сочувственную помощь всем неграм, понимающим приличествующее им – и очень важное – место в обществе, всем тем цветным мужчинам и женщинам, которые смогут доказать, что не менее сорока пяти лет своей жизни они посвятили таким подобающим им занятиям, как работа в качестве домашней прислуги, работа в сельском хозяйстве и чернорабочими в промышленности, будет предоставлено право по достижении шестидесяти пяти лет явиться в специальный совет, состоящий исключительно из белых, и по представлении доказательств, что у них не было никаких перерывов в работе, разве лишь по болезни, они будут рекомендованы на предмет получения пенсии, не превышающей 500 дол-

ларов на человека в год или 700 долларов на семью. Неграми будут считаться лица, в жилах которых течет хотя бы одна шестнадцатая цветной крови.

11. Ни в какой мере не отвергая такие нравственно возвышенные и экономически целесообразные методы помощи бедным, безработным и старикам, как грандиозный план глубокоуважаемого Эптона Синклера¹⁴, как изложенные в книгах «Разделите богатства» и «Каждый человек – король» проекты ныне покойного Хьюи Лонга, предлагавшего обеспечить каждой семье 5000 долларов в год, как план Таунсенда, планы утопистов, «Технократию» и все другие разумные схемы страхования от безработицы, новая администрация немедленно назначит комиссию на предмет изучения, согласования и рекомендации к немедленному применению наиболее ценных предложений из этих различных проектов социального обеспечения, и уважаемые господа Синклер, Таунсенд, Юджин Рид и Говард Скотт настоящим приглашаются сотрудничать с этой комиссией и давать ей всякого рода советы.

12. Всем женщинам, ныне работающим, за исключением занятых в такой специфически женской сфере деятельности, как уход за детьми и больными и работа в косметических салонах, будет оказано содействие, чтобы они могли вернуться к своим несравненно более священным, главным обязанностям хранительниц домашнего очага и матерей сильных и достойных будущих членов общества.

13. Лица, отстаивающие идеи коммунизма, социализма или анархизма, лица, отказывающиеся от воинской повинности в случае войны или выступающие за союз с Россией в какой бы то ни было войне, будут предаваться суду по обвинению в государственной измене и приговариваться минимум – к каторжным работам до двадцати лет и максимум – к смерти через повешение; возможны и иные формы смертной казни, по выбору судей.

14. Все пенсии, обещанные бывшим участникам всех войн, будут немедленно полностью выплачены наличными деньгами, и во всех случаях, когда ветераны имеют доход меньше 5000 долларов в год, обещанные суммы будут удвоены.

15. Немедленно по вступлении нашем в должность президента конгресс займется разработкой поправок к конституции, предусматривающих следующее: а) право президента устанавливать и проводить в жизнь все мероприятия, необходимые для работы правительства в настоящий критический период, б) установление чисто совещательных функций конгресса, обращающего внимание президента, его помощников и правительства на проекты необходимых законов, но не приводящего их в исполнение до получения соответствующих полномочий от президента и в) немедленное устранение из юрисдикции Верховного суда права отклонять путем объявления их противными конституции или каким-либо иным юридическим путем постановления президента, его помощников или конгресса.

Дополнение. Всем следует совершенно ясно понять, что поскольку ни «Лига забытых людей», ни Демократическая партия в настоящее время не имеют ни намерения, ни желания проводить какие-либо мероприятия, нежелательные большинству избирателей Соединенных Штатов, то Лига и партия не считают ни один из вышеприведенных пятнадцати пунктов обязательным и не подлежащим изменению, за исключением п. 15; что же касается всех остальных пунктов, то они будут проводиться или не проводиться в жизнь в соответствии с общим желанием народа, которому при новом режиме будет возвращена свобода личности, утерянная им благодаря суровым ограничительным экономическим мероприятиям прежних правительств, как республиканских, так и демократических».

¹⁴ В начале 30-х годов Э. Синклер выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния, но потерпел неудачу. Он широко рекламировал в это время свой реформистский план «ЭПИК» («Покончим с нищетой в Калифорнии»), который должен был, по его мнению, разрешить все социальные проблемы.

– Что все это значит? – удивилась миссис Джессэп, когда ее муж прочитал ей эту программу. – Что за галиматья?! Какая-то смесь из Нормана Томаса и Кэлвина Кулиджа. Я ничего не могу понять. Не думаю, чтоб все это понимал и сам мистер Уиндрип.

– Понимает! Можешь быть уверена, что он понимает. Если Уиндрип и приспособил этого интеллектуального закройщика Сарасона, чтобы тот прихорашивал его идеи, то не следует думать, что сам он их не понимает и не прижимает нежно к груди, когда они наряжены, как куклы, в двухдолларовую словесную мишуру. Я могу тебе совершенно точно сказать, что все это означает: пункты первый и пятый означают, что, если финансисты, транспортные и прочие короли не окажут Бэзу основательной поддержки, им может угрожать повышение подоходного налога и некоторый контроль над их делами. Но я слышал, что они уже поддерживают его, и неплохо... они оплачивают выступления Бэза по радио и его парады. Второй пункт означает, что через контроль над профсоюзами шайка Бэза может поставить рабочих в рабские условия. Третий пункт обеспечивает полную безопасность крупному капиталу, а четвертый превращает проповедников в запуганных и бесплатных агентов Бэза.

Шестой пункт ничего не означает: фирмы, работающие на военные нужды, получают свои шесть процентов сначала на производстве, потом на перевозке, в третий раз – на продаже... Это по меньшей мере. Седьмой значит, что мы, не отставая от европейских наций, постараемся согнуть в бараний рог весь мир. Восьмой означает, что благодаря инфляции крупные промышленные компании смогут скупить свои неоплаченные векселя по центу за доллар, а девятый – что все евреи, не желающие откупиться деньгами от этого разбойничьего барона, подвергнутся преследованиям, не исключая тех, которым и откупиться-то нечем. Десятый – что все хорошо оплачиваемые должности и выгодные места, находящиеся в руках негров, будут захвачены белыми ничтожествами из числа бэзовских почитателей... и за это не только не понесут наказания, но их будут всячески превозносить как патриотов и защитников расовой чистоты. Одиннадцатый – что Бэз постарается сложить с себя всякую ответственность за неоказание реальной помощи нуждающимся. Двенадцатый – что в дальнейшем женщины потеряют право голоса и право на высшее образование и что их ловко отстранят от любой хорошей работы и заставят воспитывать солдат, которых пошлют на убой в чужие страны. Тринадцатый – что всякий, кто хоть в чем-либо не согласен с Бэзом, может быть объявлен коммунистом и за это повешен. При такой формулировке и Гувер, и Эл Смит, и Огден Миллз... да и ты, и я... мы все можем оказаться коммунистами.

Четырнадцатый – что Бэз придает большое значение голосам ветеранов и готов заплатить за них очень дорого... чужими деньгами, разумеется. И пятнадцатый... да, это, пожалуй, тот единственный пункт, который действительно что-то значит; а значит он, что Уиндрип, и Ли Сарасон, и епископ Прэнг, и, я подозреваю, может быть, также этот полковник Дьюи Хэйк, и доктор Гектор Макгоблин... ну, знаешь, тот самый доктор, который участвует в сочинении торжественных од в честь Бэза, – все они поняли, что страна так одряхла, что любая шайка, достаточно нахальная, беспринципная, чтобы действовать «на законном основании», может захватить в свои руки все управление, добиться всей полноты власти и еще вызывать всеобщее одобрение и восхищение, и пользоваться деньгами, и дворцами, и доступными женщинами в полное свое удовольствие.

Их только небольшая горсточка, но, подумай только, как невелики были вначале шайки Муссолини и Гитлера, Кемаль-паши и Наполеона! Ты увидишь, что все эти либеральные проповедники, и воспитатели-модернисты, и недовольные газетчики, и сельские агитаторы... вначале их, может быть, и будут мучить сомнения, но потом они запутаются в паутине пропаганды, как это было со всеми нами во время мировой войны, и будут совершенно убеждены, что хоть за нашим Бэзом и водятся кое-какие грешки, но зато он на стороне простого народа и против всех старых политических ограничений, которые мешали людям жить, и они подымут всю страну на поддержку Бэза – великого освободителя (а представители крупного капитала

будут помалкивать да потирать руки) – и тогда, клянусь, этот плут... ох, не знаю даже, чего в нем больше – плутовства или истерического религиозного фанатизма, – этот плут вместе с Сарасоном, Хэйком, Прэнгом и Макгоблином... вся эта пятерка установит такой режим, что поневоле вспомнишь пирата Генри Моргана.

– Но неужели американцы станут долго терпеть это? – прохныкала Эмма. – Ах, нет, нет, только не наш народ, ведь мы же потомки пионеров!

– Не знаю. Я, со своей стороны, попытаюсь сделать все, чтобы этого не было... Ты, конечно, понимаешь, что и ты, и я, и Сисси, и Фаулер, и Мэри можем быть расстреляны, если я попытаюсь действительно что-нибудь сделать... Хм! Сейчас-то я храбрюсь, но, может быть, напугаюсь до смерти, когда услышу, как маршируют личные войска Бэза!

– О, но ты будешь осторожен, не правда ли? – взмолилась Эмма. – Кстати, пока не забыла: сколько раз уж я просила тебя, Дормэс, не давать Фулишу куриных косточек – они застрянут у него, бедненького, в горлышке, и он ими подавится. И потом еще, ты постоянно оставляешь ключи в автомобиле, когда ставишь его ночью в гараж! Я уверена, что Шэд Ледью или кто другой не сегодня завтра украдет его ночью.

Отец Пирфайкс, прочитав пятнадцать пунктов, рассердился куда сильнее, чем Дормэс.

– Что же это такое? – зарычал он. – Негры, евреи, женщины – все попали под запрет, а нас, католиков, на сей раз пропустили. Гитлер не пренебрегал нами. Он нас преследовал. Это, видно, дело рук Кофлина. Это он представил нас слишком почтенными.

Сисси, мечтавшая об архитектурной школе, чтобы создать новый стиль домов из стекла и стали; Лоринда Пайк, у которой была идея – устроить в Вермонте курорт наподобие Карлсбада – Виши – Саратоги; миссис Кэнди, которая подумывала о собственной маленькой пекарне, когда она станет слишком стара для домашней работы, – все они были возмущены гораздо больше, чем Дормэс или отец Пирфайкс.

Сисси, походившая теперь скорее на воинственную амазонку, чем на кокетливую девушку, сердито рычала:

– Стало быть, «Лига забытых людей» собирается сделать нас «Лигой забытых женщин»! Отправить нас снова стирать белье и мыть посуду! Заставить нас читать Луизу Мей Олкотт и Барри, – кроме, конечно, воскресений! Заставить нас покорно и благодарно спать с мужчинами...

– Сисси, – возопила мать.

– ...вроде Шэда Ледью! Вот что, папа, можешь сейчас же сесть и написать Берзелиосу от моего имени, что я уезжаю в Англию с первым же пароходом!

Миссис Кэнди перестала перетирать стаканы (мягким посудным полотенцем, которое она ежедневно тщательно стирала) и проворчала:

– Какие зловредные люди! Надеюсь, их скоро расстреляют, – что для миссис Кэнди было чрезвычайно пространное и гуманное заявление.

«Да! Довольно зловредные. Но не следует упускать из виду, что Уиндрип – всего лишь щепка, увлекаемая водоворотом. Не он затеял все это. При том вполне справедливом недовольстве, которое накопилось против хитроумных политиков и плутократов, не будь Уиндрипа, явился бы кто-нибудь другой... Мы обязаны были предвидеть это, – мы – досточтимые граждане... И все же это не основание, чтобы мириться с подобным положением», – думал Дормэс.

IX

Люди, сами никогда не сидевшие в государственных советах, не могут понять, что главное качество действительно великих государственных деятелей не политическая мудрость, а огромная, глубокая, всеобъемлющая Любовь к людям всех сортов и состояний и ко всей стране. В политике только эта Любовь и этот Патриотизм были моими единственными принципами. У меня одно желание – заставить всех американцев понять, что они всегда были и должны оставаться впредь величайшей расой на нашей старой Земле, и второе – заставить их понять, что каковы бы ни были между нами кажущиеся различия – в смысле богатства, знаний, способностей, происхождения и влияния (все это, конечно, не относится к людям отличной от нас расы), – все мы братья, связанные великими и прекрасными узами Национального Единства, чему мы все должны радоваться. И я думаю, что во имя этого стоит принести в жертву все личные выгоды.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип

В конце лета и в начале осени 1936 года в газетах беспрерывно мелькали изображения Берзелиоса Уиндрипа: он вскакивал в автомобили, выскакивал из самолетов, присутствовал на открытии мостов, ел кукурузные лепешки и грудинку с южанами, вареные ракушки и хлеб из отрубей – с северянами, выступал с речами перед «Американским легионом», «Лигой свободы», «Социалистической лигой молодежи», «Союзом буфетчиков и официантов», «Противоалкогольной лигой», «Орденом Лосей», «Обществом по распространению Священного Писания в Афганистане»; он целовался с дамами, празднующими свой столетний юбилей, и пожимал руку молодым дамам, но никогда не наоборот; он носил костюм для верховой езды в Лонг-Айленде и рабочие брюки с рубашкой защитного цвета – в Озаркских горах; был этот Бэз Уиндрип почти карликом, с громадной головой, с огромными ушами, отвислыми щеками и печальными глазами. У него была сияющая, добродушная улыбка, которую он, по словам вашингтонских корреспондентов, включал и выключал, как электрический свет; но эта улыбка делала его безобразие более привлекательным, чем кокетливые гримасы любого красавца.

Жесткие черные прямые волосы он отпускал так, чтобы они намекали на индейское происхождение. Отправляясь в сенат, он одевался так, чтобы смахивать на страхового агента с большой клиентурой, но когда в Вашингтон съезжались на съезд избиратели-фермеры, он появлялся в старомодной ковбойской шляпе, способной вместить десять галлонов, и грязно-серой короткой визитке, которую ошибочно именуют фракком «принца Альберта».

В этом костюме он походил на отпиленную от постамента фигуру ярмарочного «доктора» с выставки; и действительно ходили слухи, что когда-то во время каникул, в бытность свою в юридической школе, Бэз Уиндрип играл на банджо, показывал карточные фокусы к раздавал бутылки с лекарствами в качестве члена «ученой» экспедиции, именуемой «Походной лабораторией» старого доктора Алагаша, который специализировался на излечении рака по методу племени чоктавов, на изготовлении китайского успокоительного снадобья от туберкулеза и на восточном лекарстве от геморроя и ревматизма, приготовленном на основании древней как мир секретной формулы цыганской принцессы, королевы Пешавара. Компания эта, при горячей поддержке Бэза, погубила немало людей, которые, доверившись бутылкам доктора Алагаша, содержащим воду, красящие вещества, табачный сок и самогон, слишком поздно обратились к врачу. Но после этого Уиндрип, несомненно, искупил свои грехи, поднявшись от низкого шарлатанства до вполне достойного занятия: если раньше он, стоя перед рупором, предлагал вниманию публики чудеса лжемедицины, то теперь он, стоя перед микрофоном на

трибуне, освещенной ртутными лампами, расхваливал своей аудитории чудеса лжеэкономики. Роста он был небольшого, но не следует забывать, что коротышками были и Наполеон, и лорд Бивербрук, и Стивен Дуглас, и Фридрих Великий, и доктор Геббельс, известный по всей Германии под названием Микки-Мауса Одина.

Дормэс Джессэп, незаметно наблюдавший за сенатором Уиндрипом из своей скромной провинции, никак не мог объяснить, в чем же заключалось его умение очаровывать людские толпы. Сенатор был откровенно вульгарен, почти безграмотен, ложь его легко поддавалась разоблачению, его «идеи» были форменным идиотизмом, его знаменитое благочестие было набожностью коммивояжера, торгующего церковной утварью, а его пресловутый юмор – хитрым цинизмом деревенского лавочника.

Конечно, в его речах не было ничего окрыляющего и в его философии ничего убедительного. Его политическая платформа была подобна крыльям ветряной мельницы. За семь лет до создания его теперешнего кредо – винегрета из Ли Сарасона, Гитлера, Готфрида Федера, Рокко и, вероятно, патриотического обозрения «Тебя пою, о родина» – маленький Бэз выступал у себя на родине в защиту таких «революционных» идей, как «доброкачественная тушеная говядина для Дома бедных фермеров», «больше взяток лояльным политическим деятелям», а их зятьям, племянникам, компаньонам и кредиторам – теплых местечек.

Дормэсу самому никогда не приходилось слышать Уиндрипа в моменты находившего на него припадка красноречия, но политические репортеры рассказывали ему, что, слушая Уиндрипа, поддаешься его чарам, и он кажется едва ли не Платоном, но уже по дороге домой не можешь вспомнить ни одного его слова. Две вещи характеризовали, по словам корреспондентов, этого Демосфена прерий. Он был гениальным актером. Более потрясающего актера не бывало ни в театре, ни в кино, ни даже среди проповедников. Он заламывал руки, стучал по столу, безумно сверкал глазами, широко раскрытый рот его извергал библейский гнев; но он и ворковал, как нежная мать, умолял, как изнемогающий любовник, и попеременно со всеми этими фокусами хладнокровно и чуть ли не презрительно швырял в толпу цифры и факты, цифры и факты, не опровержимые даже тогда, когда они, как часто случалось, были сплошь фальшивы.

Под этим поверхностным актерским искусством таилась необычайная врожденная способность загораться от одного присутствия слушателей и передавать им это свое возбуждение. Он умел драматически заявлять, что он – не наци и не фашист, а демократ – доморощенный, джефферсоно-линкольн-кливлендо-вильсоновский Демократ, и (без декораций и костюмов) делать это так, что все слушатели воочию видели его защищающим Капитолий от варварских орд, между тем как он невинно преподносил им в качестве своих собственных заветных мыслей человеконенавистнический и антисемитский бред Европы.

Во всем же остальном, если отвлечься от этой его драматической славы, Бэз Уиндрип был Профессиональным Средним Человеком.

О, он был достаточно зауряден. Он обладал всеми предрассудками и стремлениями Среднего Американского Обывателя. Он верил в превосходство, а следовательно, и в священную непреложность, толстых гречневых блинов с разбавленным кленовым сиропом и резиновых подставок для льда в своем электрическом холодильнике; был высокого мнения о собаках – обо всех собаках вообще, без разбора, и о прорицаниях С. Паркса Кэдмена; верил в то, что следует быть на короткой ноге со всеми официантками во всех железнодорожных буфетах, и верил в Генри Форда (он радовался, что, когда он станет президентом, мистер Форд, может быть, пожалует к нему в Белый дом отужинать), и в превосходство каждого, имевшего миллион долларов. Он полагал, что короткие гетры, трости, икра, титулы, чаепития, стихи – если они не печатаются газетными синдикатами – и все иностранцы, за исключением, пожалуй, англичан, отжили свое.

Но, благодаря своему ораторскому дарованию, он был не просто обывателем, а Обывателем с большой буквы, так что, хотя другим обывателям и были понятны его стремления, в точности совпадавшие с их собственными, им все же казалось, что он возвышается над ними, и они воздевали к нему в восторге руки.

В величайшем из всех чисто американских видов искусства (наряду с звуковым кино и теми «спиричуэлс», где негры выражают желание отправиться в рай, в Сент-Луис или в любое место, достаточно отдаленное от старых романтических плантаций), а именно в искусстве Рекламы, Ли Сарасон стоял нисколько не ниже таких признанных мастеров, как Эдуард Верней, покойный Теодор Рузвельт, Джек Демпси и Эптон Синклер.

Сарасон «создавал» (как это именуется по-ученому) сенатора Уиндрипа в продолжение семи лет до его провозглашения кандидатом в президенты. Другим сенаторам секретари и жены (ни одному потенциальному диктатору не следует иметь доступной для обозрения жены, да, кроме Наполеона, ни один и не имел таковой) советовали перейти от деревенского похлопывания по плечу к благородным, закругленным цицероновским жестам. Сарасон же настойчиво убеждал Уиндрипа сохранить и на арене большой политики всю грубость и шутовство, с помощью которых (вместе с изрядной долей хитрости и выносливости, позволявшей ему проносить до десяти речей в день) он завоевал сердца простодушных избирателей его родного штата.

Получив свою первую ученую степень, Уиндрип протанцевал перед огорошенной аудиторией академиков матросский танец; поцеловал мисс Фландро на конкурсе красавиц в Южной Дакоте; развлекал сенат или, по крайней мере, сенатскую галерку подробными рассказами о том, как ловить в реке крупную рыбу, начиная от выкапывания приманки и кончая обмыванием удачных результатов ловли; он вызвал почтенного Главного судью Верховного суда на дуэль на рогатках.

У Бэза Уиндрипа имелась жена, хотя и недоступная обозрению, у Сарасона жены не было, а Уолт Тробрайдж был вдовцом. Жена Уиндрипа осталась дома и продолжала разводить шпинат и цыплят, постоянно твердя соседям, что собирается в Вашингтон на тот год, меж тем как Уиндрип усердно информировал представителей печати о том, что его «Frau»¹⁵ до того трогательно посвятила себя малюткам-детям и изучению Библии, что просто невозможно убедить ее приехать на Восток.

Но когда дело дошло до собирания политической машины, Уиндрипу не понадобились советы Ли Сарасона.

Где был Бэз, туда слетались хищники. Его номер или целые апартаменты в гостинице – будь то в столице его родного штата, в Вашингтоне, в Нью-Йорке или в Канзас-Сити – напоминали, по выражению Фрэнка Селливэна, редакцию бульварной газеты после какого-нибудь невероятного происшествия: скажем, если бы епископ Кэннен поджег собор Св. Патрика, похитил дионнских близнецов и сбежал с Гретой Гарбо в краденном танке.

Бэз Уиндрип сидел обычно посреди «гостиной», телефон стоял подле него на полу, и он часами кричал в аппарат: «Хэлло!.. Да!.. Слушаю...», или в дверь: «Входите... Входите!», а затем: «Садитесь, пожалуйста свои ноги!» Весь день и всю ночь, до рассвета, он не переставал бушевать: «Скажите ему, что он может взять свои деньги и убираться ко всем чертям», или: «Конечно; конечно, старина... До смерти рад бы помочь. Дорогу предприятиям коммунального пользования», и потом: «Скажите губернатору, что я хочу, чтобы Киппи избрали шерифом и обвинение против него сняли и сделали все это быстро, черт подери!» Сидел он обычно, поджав под себя ноги, в модном пиджаке из верблюжьей шерсти и в кричащей клетчатой кепке.

¹⁵ Жена (нем.).

В припадке ярости, наступавшем у него не реже чем через каждые четверть часа, он вскакивал, срывал с себя пиджак (под которым обнаруживалась либо белая крахмальная рубашка с черным галстуком, как у духовных лиц, либо канареечная шелковая с красным галстуком), швырял его на пол, а затем снова надевал с важной медлительностью, все время гневно рыча, подобно Иеремии, проклинающему Иерусалим, или корове, тоскливо оплакивающей уведенного теленка.

К нему приходили маклеры, профсоюзные боссы, самогонщики, антививисекционисты, вегетарианцы, лишенные звания адвокаты, миссионеры, жившие в Китае, спекулянты нефтью и электричеством, сторонники войны и сторонники войны против всякой войны. «Хм! Все, кому нужно поправить свои дела, обращаются ко мне», – жаловался он Сарасону. Каждому он обещал продвинуть его дело, например, устроить в военную академию какого-нибудь пленника, недавно потерявшего место на маслобойном заводе. Своим коллегам, политическим деятелям, он обещал поддержать их законопроекты, если они поддержат законопроекты его, Уиндрипа. Он давал интервью о помощи фермерам, о купальных костюмах с открытой спиной и о тайной стратегии эфиопской армии. Он скалил зубы, хлопал собеседников по коленке и по спине, и лишь немногие из посетивших Уиндрипа не начинали смотреть на него, как на отца родного, и не становились его верными сторонниками. Бывали, правда, и исключения – в большинстве случаев то были журналисты, которым еще до встречи с Уиндрипом был противен исходивший от него запах. Но даже их ожесточенные нападки на него способствовали тому, что имя его не сходило с газетных столбцов. Он пробыл год сенатором, машина его политики работала так же хорошо и бесперебойно и была так же скрыта от глаз непосвященных, как двигатели океанского парохода.

В каждом номере у него на кровати всегда валялось три цилиндра, две шляпы, какие носят лица духовного звания, нечто зеленое с пером, коричневый котелок, фуражка водителя такси и девять обыкновенных честных коричневых шляп.

Однажды он за двадцать семь минут успел переговорить по телефону из Чикаго с Пало-Алто, Вашингтоном, Буэнос-Айресом, Уилметтом и Оклахома-Сити. В другой раз за полдня у него перебивало шестнадцать священников, просивших его публично заклеить мерзкие комические обозрения «бурлеск», и семь театральных меценатов и владельцев театров, просивших его расхвалить эти самые обозрения. Священников он называл «доктор» и «брат», а меценатов – «приятель» и «дружище»; надавал громких обещаний и тем и другим и ни для тех и ни для других ровно ничего не сделал.

Сам он не стал бы заводить связи с иностранцами, хотя и не сомневался, что когда-нибудь ему в качестве президента придется возглавить оркестр мировых держав. Но Ли Сарасон настаивал на том, чтобы Бэз хоть немного ознакомился с такими основами международной жизни, как соотношение фунта стерлингов и лиры, и чтобы знал, как полагается титуловать баронета, каковы шансы эрцгерцога Отто, в каких тавернах Лондона подают устрицы и какие публичные дома в Париже лучше всего рекомендовать веселящейся посольской публике.

Но настоящей обработкой иностранных дипломатов, живущих в Вашингтоне, он предоставлял заниматься Сарасону, угощавшему их особым сортом черепахи и особой американской уткой с желе из черной смородины у себя на квартире, гораздо более шикарной, чем личная вашингтонская квартира самого Бэза, обставленная с нарочитой простотой и скромностью... Тем не менее в квартире Сарасона для Бэза была резервирована комната с большой двухспальной кроватью в стиле ампира.

Не кто иной, как Сарасон, убедил Уиндрипа разрешить ему написать «В атаку», на основе лично Бэзом продиктованных заметок, и он же соблазнил миллионы людей прочитать, а тысячи людей даже и приобрести эту «библию экономической справедливости». Сарасон понимал, что в момент, когда страну захлестывал поток частных политических еженедельных и ежемесячных журналов, не опубликовать кредо Уиндрипа было бы просто глупо. Сарасону же принад-

лежала идея чрезвычайного выступления Бэза по радио в три часа ночи по случаю запрещения Верховным судом Национальной Администрации по Восстановлению Промышленности в мае 1935 года... И хотя многие из приверженцев Бэза, да в том числе и он сам, не понимали, выражала его речь протест или наоборот, хотя лишь немногие лично слышали эту речь, но все решительно – за исключением пастухов и профессора Альберта Эйнштейна – слышали о ней и были потрясены.

Зато Бэзу совершенно самостоятельно пришла в голову блестящая мысль сперва оскорбить герцога Йоркского, отказавшись явиться в посольство на обед, устроенный в его честь в 1935 году, и тем самым заслужить на всех фермах, в домах священников и в барах блистательную репутацию доморощенного демократа, а затем смягчить его высочество, нанеся ему визит с поднесением скромного букета домашних гераней (из оранжереи японского посланника), причем последнее снискало ему любовь если не членов королевской фамилии, то, во всяком случае, «Дочерей американской революции», «Союза говорящих на английском языке» и всех мягкосердечных мамаш, умилявшихся по поводу сего трогательного букетика гераней.

Симпатии журналистов Бэз завоевал тем, что на съезде Демократической партии настоял на выдвижении в вице-президенты кандидатуры Пирли Бикрофта – уже после того, как Дормэс Джессэп в ярости выключил радио. Бикрофт – южанин, владелец табачных плантаций и табачных лавок, в прошлом губернатор своего штата – был женат на бывшей школьной учительнице из штата Мэн, от которой так крепко пахло нюхательной солью и цветом картофеля, что это обеспечивало ему симпатии любого янки. Но не географические преимущества делали мистера Бикрофта очень подходящим партнером для Бэза Уиндрипа, а то, что у него были желтое лицо малярика и редкие усы (в то время как лошадиное лицо Бэза было всегда гладко выбрито и сияло ярким румянцем), и то, что в ораторских выступлениях Бикрофта бывали паузы, была глубина медленно изрекаемой бессмыслицы, и это импонировало важным педантам, которых коробил бэзовский водопад жаргонных словечек.

К тому же Сарасон никогда не убедил бы богачей, что чем больше Бэз угрожал им, чем чаще он обещал раздать миллионы беднякам, тем больше могли они верить в его «здоровый смысл» и спокойно финансировать его предвыборную кампанию. А Бэз убеждал их, намекая, улыбаясь, подмигивая, пожимая руки, – и деньги лились рекой, исчисляясь сотнями тысяч, часто под видом участия в прибылях.

Остроумным ходом Берзелиоса Уиндрипа было то, что он, не дожидаясь своего избрания, начал вербовать себе шайку пиратов. В искусстве привлекать сторонников он практиковался с того самого дня, когда четырехлетним мальчуганом очаровал соседского мальчика, подарив ему револьвер, который потом сам же выкрал из кармана своего нового товарища. Бэз, вероятно, не учился, а может быть, ему и нечему было учиться у социологов Чарльза Бирда и Джона Дьюи, но они могли бы многому научиться у Бэза.

И опять-таки ловким ходом Бэза, а не Сарасона, было следующее: горячо защищая идею о том, что все могут стать богатыми, стоит только проголосовать за богатство, он в то же время отрекся от всякого «фашизма» и «нацизма», так что большинство республиканцев, опасавшихся фашизма демократов, и демократы, боявшиеся фашизма республиканцев, готовы были отдать ему свои голоса.

X

Хотя я всячески стараюсь не затемнять страницы моей книги научными терминами и неологизмами, я все же вынужден сказать: самое поверхностное ознакомление с Экономикой Изобилия должно убедить всякого разумного человека, что Кассандры, неправильно именующие «инфляцией» необходимое увеличение нашего денежного обращения, – ошибочно основывая свою аналогию на инфляционных неудачах некоторых европейских государств в период 1919–1923 годов, – заблуждаются, а может быть, умышленно не хотят понять, что в Америке совершенно иная денежная система, обусловленная нашими гораздо более значительными запасами естественных богатств.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип

Большинство разорившихся фермеров, –

Большинство конторских служащих, не имевших работы в течение последних трех, четырех, а то и пяти лет, –

Большинство людей, живущих на пособие и жаждущих увеличения этого пособия, –

Большинство жителей окраин, которым не по карману электрические стиральные машины, даже купленные в рассрочку, –

Значительные группы «американских легионеров», веривших, что только сенатор Уиндрип обеспечит им получение, а может быть, и увеличение пенсий, –

Популярные проповедники, которые рассчитывали по примеру епископа Прэнга и отца Кофлина создать себе нужную рекламу, поддержав не совсем обычную программу, сулящую процветание всем-всем без каких-либо усилий с чьей бы то ни было стороны, –

Остатки Ку-клукс-клана и некоторые лидеры Американской федерации труда, считавшие себя обиженными и обойденными прежними политическими деятелями, –

А также не организованные в профсоюзы чернорабочие, считавшие себя обиженными этой самой АФТ, –

Ютящиеся на задворках адвокаты, которым еще ни разу не удалось получить казенную должность, –

Злополучная противоалкогольная Лига, – поскольку было известно, что сенатор Уиндрип, сам любитель выпить, является горячим сторонником полного воздержания, тогда как его соперник, Уолт Трубридж, почти ничего никогда не пивший, не поддерживал, однако, мессий сухого закона. (Мессии эти за последнее время совсем уже было изверились в выгоды своей профессии моралистов, поскольку Рокфеллеры и Уономэйкеры перестали молиться с ними и платить им), –

Помимо всех этих нуждающихся просителей, – немалое количество буржуа, даже миллионеров, недовольных тем, что заметный урон их процветанию наносят коварные банкиры, ограничивающие им кредит.

Таковы были сторонники Берзелиоса Уиндрипа, мечтавшие, что он, подобно божественному ворону, всех их накормит, когда станет президентом; из их среды вышли самые пылкие ораторы, выступавшие за Уиндрипа в предвыборной кампании весь сентябрь и октябрь.

С этой толпой паладинов, для которых политические добродетели определялись интересами их кармана, смешивался летучий отряд воителей, страдавших не от голода, а от избытка идеализма; интеллигенты, реформисты и даже заядлые индивидуалисты, видевшие в Уиндрипе, несмотря на все его фиглярское вранье, освободительную силу, которой предстояло омолодить одряхлевшую капиталистическую систему.

Эптон Синклер писал и выступал в защиту Бэза, так же как в 1917 году он, будучи убежденнейшим пацифистом, выступал за то, чтобы Америка приняла самое активное участие в мировой войне, полагая, что таким образом будет навсегда покончено с германским милитаризмом, а стало быть, и со всякими войнами. Большинство компаньонов Моргана, которых, может быть, и коробило оттого, что им пришлось объединиться с Эптоном Синклером, поняли, что, какие бы значительные материальные жертвы им ни угрожали, Уиндрип был единственным человеком, способным осуществить подъем промышленности; епископ Маннинг из Нью-Йорка ссылаясь на то, что Уиндрип всегда почтительно отзывался о церкви и ее пастырях, меж тем как Уолт Тробрайдж по воскресеньям совершал утренние прогулки верхом, и не было слышно, чтобы в «День матери» он отправил хоть одну поздравительную телеграмму какой-нибудь особе женского пола.

С другой стороны, газета «Сатердей ивнинг пост» выводила из себя мелких лавочников, называя Уиндрипа демагогом, и нью-йоркская «Таймс» – некогда орган независимых демократов – тоже была против Уиндрипа. Но большая часть религиозной прессы объявила, что раз Уиндрипа поддерживает такой святой, как епископ Прэнг, – значит, таково веление божие.

В предвыборной кампании приняла участие даже Европа.

Заверив всех с самым скромным и любезным видом, что они ни в коей мере не хотели бы вмешиваться во внутренние дела американцев и что их единственное желание – лично выразить восхищение великим светилом Запада, поборником мира и процветания Берзелиосом Уиндрипом, несколько представителей иностранных держав отправились в лекционное турне по Америке: генерал Бальбо, снискавший популярность в США тем, что в 1933 году возглавлял перелет из Италии в Чикаго; ученый, хотя и живший в настоящее время в Германии и вдохновлявший всех патриотических вождей «германского возрождения», но в свое время окончивший Гарвардский университет и завоевавший славу лучшего пианиста на своем курсе, некий доктор Эрнст (Пуцци) Ганфштенгль; и, наконец, лев британской дипломатии, Гладстон 1930-х годов, красивый и любезный лорд Лоссимут, в бытность свою премьер-министром известный под именем Рамсея Макдональда.

Жены фабрикантов оказали всем троим роскошный прием, и они, в свою очередь, сумели убедить многих миллионеров, которые считали Бэза вульгарным выскочкой и смотрели на него свысока, в том, что он, в сущности, является единственной надеждой мира на восстановление международной торговли.

Отец Коффин бросил на всех кандидатов один-единственный взгляд и с негодованием скрылся в своей келье.

Миссис Аделаида Тарр-Гиммич, которая, несомненно, написала бы друзьям, приобретенным ею на ротарианском обеде в Форте Бьюла, если б только она помнила название этого города, была заметной фигурой в предвыборной кампании. Она разъясняла женщинам-избирательницам, как это мило со стороны сенатора Уиндрипа, что он пока еще сохранил за ними право голоса, и исполняла свою песенку «Наш Бэз поехал в Вашингтон» в среднем не меньше одиннадцати раз в день.

Сам Бэз, епископ Прэнг, сенатор Порквуд (бесстрашный либерал и друг рабочих и фермеров) и полковник Оссиола Лутхорн, издатель и редактор, хотя и считали основной своей задачей речи по радио, обращенные сразу к миллионам слушателей, совершили поездку по всей стране, за сорок дней побывав во всех штатах и проделав свыше 27 000 миль в специальном экспрессе «Забытых людей» – алюминиевом, обтекаемом, пунцовом с серебром, с панелями из слоновой кости, с шелковой обивкой, с двигателями Дизеля, с резиновой прокладкой во всех переборках, с кондиционированным воздухом в каждом вагоне.

В поезде имелся бар, которым, за исключением епископа, никто не пренебрегал.

Объединенные железные дороги оплатили эту поездку.

Было произнесено свыше шестисот речей, начиная от приветственных возгласов, обращенных к собравшейся на вокзале толпе – на семь-восемь минут, – до двухчасовых взрывов громового красноречия в различных аудиториях и на ярмарочных площадях. Бэз обычно участвовал во всех выступлениях на первых ролях, но иногда он настолько срывал голос, что был только в состоянии помахать рукой и прохрипеть приветствие, предоставляя распинаться за себя Прэнгу, Порквуду, полковнику Лутхорну или тем охотникам из бесконечного числа его секретарей, ученых специалистов-консультантов по истории и экономике, поваров, буфетчиков и парикмахеров, которых удавалось оторвать от азартной игры в карты с сопровождавшими поезд репортерами, фотографами, звукооператорами и радистами. Тиффер из агентства «Юнайтед пресс» подсчитал, что Бэз, таким образом, показался перед двумя миллионами людей, если не больше.

В то же время Ли Сарасон почти ежедневно носился на аэроплане из Вашингтона на родину Бэза и обратно, руководя деятельностью нескольких десятков телефонисток и множества стенографисток, отвечавших на тысячи поступавших ежедневно телефонных звонков, писем, телеграмм, каблограмм – и коробок с отравленными конфетами. . . Бэз требовал, чтобы все эти девушки были красивы, покладисты, хорошо работали и состояли в родственной связи с влиятельными в политике лицами.

Между тем distinguished Пирли Бикрофт, кандидат в вице-президенты, специализировался на проведении собраний различных братств, религиозных общин, страховых агентов и вояжеров.

Полковнику Дьюи Хэйку, предложившему кандидатуру Бэза на съезде в Кливленде, была отведена в предвыборной кампании роль совершенно исключительная, – это была одна из самых удачных выдумок Сарасона. Хэйк агитировал за Уиндрипа не на многочисленных собраниях, а в местах столь необычных, что одно его появление там уже было сенсацией, причем Сарасон и Хэйк заботились о том, чтобы своевременно послать туда проворных хроникеров, сразу распространявших сведения об этих выступлениях. Летая на собственном самолете (покрывая до тысячи миль в день), Хэйк поспевал всюду и везде: он обратился, например, с речью к девяти озадаченным шахтерам в шахте медного рудника на глубине целой мили от поверхности, и тридцать девять фотографов шелкали этих девятерых; стоя в моторной лодке, он обратился с речью к рыболовной флотилии, застрявшей во время тумана в Глостерской гавани; в полдень он говорил с портала казначейства на Уолл-стрит; он обращался к летчикам и обслуживающему персоналу в аэропорту Нового Орлеана, причем даже летчики отпускали грубые шутки только первые пять минут, – пока он описывал отважные, но неуклюжие попытки Бэза Уиндрипа научиться летать; он обращался с речами к полисменам, филателистам, шахматистам, собиравшимся в узком кругу, и к кровельщикам, работавшим на крышах домов; он выступал на пивоваренных заводах, в госпиталях, в редакциях журналов, в соборах и в маленьких часовнях на перекрестках дорог, в тюрьмах, в домах для умалишенных, в ночных клубах, пока редакторы иллюстрированных изданий не стали предупреждать фотографов: «Ради бога, не надо больше снимков полковника Хэйка, выступающего в спортивных клубах и тюрьмах».

Тем не менее они продолжали помещать эти снимки.

Потому что полковник Дьюи Хэйк был почти такой же колоритной фигурой, как сам Бэз Уиндрип.

Семья Хэйка, проживавшая в Теннесси, пришла в упадок; один его дед был генералом-конфедератом, а другой, некий Дьюи, происходил из Вермонта; сам Хэйк работал сборщиком хлопка, потом стал телеграфистом, затем окончил университет Арканзаса, а затем юридическую школу Миссури, был адвокатом в деревне штата Вайоминг, а затем в Орегоне; во время же войны (в 1936 году ему было лишь 44 года) служил во Франции, в пехоте, был капитаном. Когда он вернулся в Америку, его выбрали в конгресс, и он стал полковником мили-

ции. Он изучал военную историю; научился водить самолет, стал боксером и фехтовальщиком; держался он прямо, словно аршин проглотил, но улыбка у него была приветливая; он в равной мере нравился строгим армейским офицерам высших рангов и таким головорезам, как мистер Шэд Ледью, этот Калибан Дормэса Джессэпа.

Хэйк бросил к ногам Бэза даже самых строптивых, тех, кого особенно раздражала надутая важность епископа Прэнга.

Между тем Гектор Макгоблин – ученый доктор и дородный поклонник бокса, соавтор Сарасона по сочинению предвыборного гимна «Старый мушкет достаньте» – специализировался на агитации среди университетских профессоров, ассоциаций преподавателей средней школы, профессиональных бейсбольных команд; он выступал на боксерских рингах, на собраниях медиков, на летних занятиях в университете (где известные литераторы обучали писательскому ремеслу старательных, но безнадёжных неудачников), на турнирах по гольфу и тому подобным культурных собраниях.

Но искушенный в боксе доктор Макгоблин подвергался опасности в предвыборную кампанию больше, чем все остальные ее участники. На митинге в Алабаме, когда Макгоблин вполне убедительно доказал, что в негре должно быть по меньшей мере 25 процентов «белой крови», чтобы он мог достичь культурного уровня продавца патентованных лекарств, произошла потасовка: на митинг, а потом и на дома богатых белых напали цветные под предводительством негра, служившего в 1918 году на Западном фронте капралом. Лишь красноречивое заступничество цветного священника спасло Макгоблина и горожан.

Воистину, как сказал епископ Прэнг, апостолы сенатора Уиндрипа проповедовали теперь его евангелие повсюду, даже среди язычников.

Но Дормэс Джессэп в разговоре с Баком Титусом и отцом Пирфайксом выразился иначе: – Это то, что у ротарианцев называется революцией.

XI

Когда я был мальчишкой, одна моя учительница, старая дева, частенько говорила мне: «Бэз, ты самый большой олух в школе». Но я заметил, что она ругала меня гораздо чаще, чем хвалила других ребят за сообразительность, и я стал самым популярным учеником в приходе. Сенат Соединенных Штатов поступает примерно так же, и я хочу поблагодарить многих напыщенных дураков за их замечания в адрес вашего покорного слуги. «В атаку». Берзелиос Уиндрип

Но среди язычников были и такие, что не обращали внимания ни на Прэнга, ни на Уиндрипа, ни на Хэйка, ни на доктора Макгоблина.

Уолт Тробридж проводил свою предвыборную кампанию так спокойно, как будто был совершенно уверен в победе. Он не жалел своих сил, но он не оплакивал «забытых людей» (в молодости он сам был одним из них и находил, что это вовсе не так уж плохо) и не впадал в истерику в баре специального поезда, пунцового с серебром. Спокойно, настойчиво он разъяснял, выступая по радио и в некоторых больших залах, что он стоит за лучшее и более справедливое распределение богатств, но что достичь этого можно путем упорного подкопа, а не с помощью динамита, который разрушит больше, чем следует. Нельзя сказать, чтобы все это было слишком увлекательно. Да экономика и редко бывает такой, разве только когда воспринимается в драматической обработке епископа, в постановке Сарасона и в темпераментном исполнении Бэза Уиндрипа, при рапире, в голубом атласном трико.

Для предвыборной кампании коммунисты бодро выдвинули своих жертвенных кандидатов – семь человек от всех существовавших в то время коммунистических партий. Они держались вместе, так как понимали, что, действуя солидарно, могут собрать 900 000 голосов; в это объединение входили: Партия, Партия большинства, Партия левых, Партия Троцкого, Христианская коммунистическая партия, Рабочая партия и еще одна с менее определенным названием, а именно: Американская националистская патриотическая кооперативно-фабианская после-марксовская коммунистическая партия – звучало это наподобие титула члена королевской семьи, но на этом сходство и кончалось.

Но все эти радикалистские объединения ничего не значили по сравнению с новой джефферсоновской партией, которую неожиданно возглавил Франклин Д. Рузвельт.

Спустя сорок восемь часов после избрания Уиндрипа кандидатом на съезде в Кливленде президент Рузвельт опубликовал свой вызов.

Сенатор Уиндрик, утверждал он, был избран «не умами и сердцами истинных демократов, а временно постигшим их безумием». Он считал, что имелось не больше оснований для поддержки Уиндрипа, претендующего на звание демократа, чем для поддержки Джимми Уокера.

В то же время он не может, говорилось далее, голосовать за кандидата Республиканской партии, «партии окопавшихся специальных привилегий», как бы высоко он ни ставил в последние годы лояльность, честность и ум сенатора Уолта Тробриджа.

Рузвельт давал ясно понять, что его джефферсоновская, или истинно демократическая, фракция не является «третьей партией» в том смысле, что она останется постоянной организацией. Она должна исчезнуть, как только честно и трезво мыслящие люди снова вернутся к руководству партией. Бэз Уиндрик смешил своих слушателей, называя эту фракцию «партией быка и мышей», но к президенту Рузвельту примкнули почти все либеральные члены конгресса, как демократы, так и республиканцы, не поддержавшие Уолта Тробриджа; к нему

присоединились также Норман Томас и социалисты, не ставшие коммунистами, а также губернаторы Флойд Олсен и Олин Джонстон и майор Ла Гардиа.

Вполне очевидной ошибкой джефферсоновской партии, а равно и личной ошибкой сенатора Уолта Тробриджа явилось то, что они апеллировали к чести и разуму в такое время, когда избиратели жаждали сильных эмоций и острых ощущений, связанных обычно не с денежными системами и налоговыми тарифами, а с крещением путем окунания в реку, с молодой любовью под вязами, с крепким виски, с ангельскими хорами, слетающими с луны, со смертельным страхом, когда вы мчитесь в автомобиле над бездной, с жаждой в пустыне, утоляемой родниковой водой, – со всеми теми примитивными ощущениями, которые, как казалось избирателям, они находили в воплях Бэза Уиндрипа.

Вдали от ярко освещенных балльных зал, где все эти капельмейстеры в малиновых куртках оспаривали друг у друга руководство громадным духовным джаз-оркестром, далеко-далеко в прохладных горах маленький человек по имени Дормэс Джессэп, даже не барабанщик, а всего только редактор и гражданин, в превеликом смятении размышлял о том, что же ему следует сделать, чтобы спастись.

Ему хотелось последовать за Рузвельтом и джефферсоновской партией – во-первых, потому что он восхищался Рузвельтом, а во-вторых, потому что ему хотелось подразнить вермонтцев, этих закоренелых республиканцев. Но он не верил, что джефферсоновцы могут иметь успех; зато он был убежден, что, несмотря на запах нафталина, исходивший от многих его сподвижников, Уолт Тробридж был тем мужественным и достойным человеком, который должен занять пост президента, и Дормэс день и ночь носился по долине Бьюла, агитируя за Тробриджа.

В результате обуревавших его сомнений в статьях его появилась твердость отчаяния, поражавшая привычных читателей «Информера». Куда девалась его обычная ироническая снисходительность! Не говоря ничего дурного о джефферсоновской партии, кроме того, что она преждевременна, он обрушивался и в передовицах и в фельетонах на Бэза Уиндрипа и на его шайку, бичевал их, жалил, разоблачал.

Все утро он тратил на беседы с избирателями – заходил в магазины, в дома, убеждал, интервьюировал своих сограждан.

Он думал, что агитировать за Тробриджа в традиционно республиканском Вермонте будет обидно легкой для него задачей, но, к его величайшему смущению, оказалось, что избиратели отдавали предпочтение выдававшему себя за демократа Бэзу Уиндрипу. И таковое предпочтение – Дормэс ясно видел это – основывалось не на горячей вере в Уиндрипа, сулившего всем и каждому блаженство в духе утопии. Просто люди верили в улучшение деловых перспектив для самого избирателя и его семьи.

Из всего, что происходило в предвыборной кампании, большинство избирателей реагировало только на так называемый юмор Уиндрипа и на три пункта его программы: пятый, в котором обещалось увеличить налоги на богачей; десятый, направленный против негров, ибо ничто так не возвышает неимущего фермера или рабочего, живущего на пособие, как возможность смотреть на какую-нибудь расу – безразлично какую – сверху вниз; и в особенности на одиннадцатый пункт, возвещавший – по крайней мере, так всем казалось, – что всякий трудящийся станет с места в карьер получать пять тысяч долларов в год. (Многочисленные спорщики на железнодорожных станциях утверждали даже, что не пять, а десять тысяч долларов. Еще бы! Они собирались получить все, до единого цента, предложенное д-ром Таунсендом, плюс все, запланированное покойным Хьюи Лонгом, Эптоном Синклером и утопистами.) Сотни пожилых людей в долине Бьюла столь блаженно уповали на это, что с чрезвычайно довольным видом приходили в магазин скобяных изделий Рэймонда Прайдуэла, чтобы закупить новые кухонные плиты, алюминиевые кастрюли и полное оборудование для ванной комнаты с условием оплатить все на другой день после вступления в должность нового президента. Мистер Прай-

дуэл, заскорузлый старик, республиканец типа Генри Кэбота Лоджа, растерял половину своих клиентов, выставляя из магазина этих счастливых претендентов на сказочные состояния, но они продолжали мечтать, и неустанно «пиливший» их Дормэс убеждался, что голые цифры беспомощны перед мечтой... даже перед мечтой о новом автомобиле, о несметном количестве консервированных сосисок, о кинокамерах и о перспективе встать не раньше, чем в семь часов тридцать минут утра.

Так отвечал, например, Альфред Тизра, по прозвищу Снэйк (змея), друг служившего у Дормэса Шэда Ледью.

Снэйк был шофером грузовика и владельцем такси; он отбывал в свое время заключение за хулиганство и за контрабандную перевозку спиртных напитков. Когда-то он добывал себе пропитание тем, что ловил гремучих змей и медянок в южных районах Новой Англии. При президенте Уиндрипе, насмешливо уверял он Дормэса, у него будет столько денег, что он сразу откроет целую сеть кабаков во всех «сухих» деревнях Вермонта.

Эд Хоулэнд, один из мелких бакалейщиков Форте Бьюла, и Чарли Бетс, продававший мебель и похоронные принадлежности, отчитывали всякого, кто пытался приобрести бакалею, мебель или даже похоронные принадлежности в кредит в счет Уиндрипа. Однако это не мешало им быть всецело за то, чтобы все остальные товары население могло брать в кредит.

Коротышка Арас Дили, молочник, живший со своей беззубой женой и семьей чумазыми детишками в покосившейся грязной хижине у основания горы Террор, с циничной усмешкой говорил Дормэсу, не раз заносившему ему корзинку с провизией, патроны и папиросы: «Вот что я скажу вам: когда мистер Уиндрип станет президентом, цены на наши продукты будем назначать мы, фермеры, а не вы, городские ловкачи!»

Дормэс не мог его осуждать; Бак Титус в свои пятьдесят лет выглядел на тридцать с лишним, Арас же в свои тридцать четыре казался пятидесятилетним стариком.

Пренеприятный компаньон Лоринды Пайк по ее «Таверне долины Бьюла», некто мистер Ниппер, от которого она надеялась в скором времени избавиться, хвастался тем, как он богат, и в то же время жадно мечтал о том, насколько он станет богаче при Уиндрипе. «Профессор» Штаубмейер цитировал приятные вещи, сказанные Уиндрипом по поводу повышения жалования учителям. Луи Ротенстерн, стремившийся доказать, что сердце у него во всяком случае не еврейское, восторгался Уиндрипом больше всех. И даже Фрэнк Тэзброу, владелец каменоломен, Медэри Кол, владелец мельницы и земельных участков, Р. К. Краули, банкир, несмотря на то что им едва ли могла улыбаться перспектива повышения подоходного налога, лукаво посмеивались и намекали на то, что Уиндрип – парень более сообразительный, чем многие думают.

Но в Форте Бьюла не было более горячего поборника Бэза Уиндрипа, чем Шэд Ледью.

Дормэс знал, что Шэд умеет при случае покрасоваться и поговорить, что как-то раз ему даже удалось убедить старого мистера Прайдуэла отпустить ему в кредит винтовку стоимостью в двадцать три доллара; что однажды, освободившись от общества угольных ящиков и грязной рабочей одежды, он спел песню «Развеселый Билл, моряк» на вечеринке Древнего и Независимого Ордена Баранов и что у него была достаточно хорошая память, чтобы цитировать, выдавая за свои собственные, глубокомысленные изречения и целые фразы из передовиц херстовских газет. Но, даже зная обо всех этих его необходимых для политической карьеры данных, по которым Шэд лишь немногим уступал самому Бэзу Уиндрипу, Дормэс был поражен, когда увидел, как Шэд распинался, ратуя за Уиндрипа, перед рабочими каменоломни, а затем как-то председательствовал на большом собрании. Говорил Шэд мало, но грубо издевался над сторонниками Тробрайда и Рузвельта.

На митингах, где Шэд не выступал, он был ни с кем не сравнимым вышибалой и в этом своем драгоценном качестве получал приглашения на уиндриповские собрания даже в такие отдаленные места, как Берлингтон. Не кто иной, как Шэд – в военной форме, величественно восседая на большой белой крестьянской лошади, – возглавлял заключительный уиндриповский

парад в Ратленде; солидные деловые люди, даже комиссионеры мануфактурных фирм, нежно называли его Шэд.

Дормэс только диву давался и не переставал бранить себя за то, что не сумел своевременно оценить этот новоиспеченный образец совершенства, когда, сидя в зале «Американского легиона», слушал рев Шэда:

– Я прекрасно понимаю, что я всего лишь простой рабочий, но есть сорок миллионов таких рабочих, как я, и мы знаем, что сенатор Уиндрип – это первый за многие годы государственный деятель, который, прежде чем думать о политике, думает о нуждах таких вот парней, как мы. Смелее, бэзовцы! Всякие надутые господа твердят вам: не будьте эгоистами! Уолт Тробрайдж твердит вам: не будьте эгоистами! Так нет же, будьте эгоистами и голосуйте за единственного человека, желающего дать вам что-то... дать вам что-то!.. а не вырвать у вас последний цент и выжать лишний час работы.

Дормэс про себя застонал: «Ах, Шэд, Шэд! Ведь ты проделываешь все это в часы, за которые я тебе плачу!»

Сисси Джессэп ехала в своем двухместном автомобиле (своем, поскольку она его захватила) с Джулиэном Фоком, прибывшим из Амхерста на субботу и воскресенье, и с Мэлком Тэзброу.

– Слушайте, хватит говорить о политике! Уиндрип собирается стать президентом, так неужели же надо терять время на нытье, когда мы можем спуститься к реке и поплавать?! – взывал Мэлком.

– Прежде чем он станет президентом, мы основательно поборемся с ним. Сегодня вечером я хочу выступить перед нашими выпускниками... на тему о том, как им уговорить своих родителей голосовать либо за Тробрайджа, либо за Рузвельта, – огрызнулся Джулиэн Фок.

– Ха-ха-ха! И родители, конечно, будут до смерти рады сделать все, что вы им прикажете, Джулиэн! Эх, вы, университетчики! Да, кроме того... Неужели вы действительно принимаете всерьез всю эту дурацкую затею? – Мэлком отличался наглой самоуверенностью обладателя крепкой мускулатуры, прилизанных черных волос и собственного мощного автомобиля; он образцово руководил отрядом «черных рубашек» и с презрением смотрел на Джулиэна, который был на год старше его, но бледен и худощав. – А в сущности хорошо, если мы получим Бэза. Он сразу положит конец всему этому радикализму... всей этой болтовне о свободе слова и насмешкам над нашими святынями...

– «Бостон Америкэн» за вторник, страница восьмая, – пробормотала Сисси.

– ...и неудивительно, что вы так боитесь его, Джулиэн! Он, наверно, посадит в каталажку кое-кого из ваших любимых амхерстских профессоров-анархистов, а может быть, и вас, товарищ!

Молодые люди смотрели друг на друга с затаенным бешенством. Но Сисси успокоила их тем, что разбушевалась сама:

– Ради всего святого! Перестанете вы когда-нибудь ссориться или нет? Ах, друзья мои, что за гнусность эти выборы! Просто отвратительно! Нет такого города, нет такой семьи, куда бы это не проникло. Бедный папа! Он погряз в этом с головой!

XII

Я не успокоюсь до тех пор, пока страна наша не станет производить все, что ей нужно – даже кофе, какао и каучук, – и, таким образом, наши доллары будут оставаться дома. Если мы сумеем сделать это и одновременно так развить туризм, чтобы со всего мира съезжались иностранцы посмотреть на наши чудеса – Большой Каньон, Глетчер, Йеллоустонский и другие парки, красивейшие отели Чикаго и т. д. – и оставляли у нас свои деньги, то мы получим такой торговый баланс, которого с избытком хватит на осуществление моей часто подвергавшейся критике, но тем не менее абсолютно здоровой идеи о том, чтобы обеспечить каждой семье от 3000 до 5000 долларов в год, я имею в виду каждую действительно американскую семью. Великая мечта – вот что нам нужно, а не эта бессмысленная потеря времени в Женеве, болтовня в Лугано или где бы то ни было¹⁶.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип

День выборов приходился на вторник, 3 ноября, а в воскресенье вечером, 1 ноября, сенатор Уиндрип разыграл финал своей предвыборной кампании на массовом митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Зал, включая и стоячие места, вмещал до девятнадцати тысяч человек, билеты, стоившие от пятидесяти центов до пяти долларов, были раскуплены уже за неделю, и спекулянты перепродавали их потом по цене от одного до двадцати долларов.

Дормэсу удалось достать один-единственный билет у знакомого сотрудника газеты Херста – из всей нью-йоркской прессы только газеты Херста поддерживали Уиндрипа, – и первого ноября после обеда он выехал в Нью-Йорк; впервые за последние три года ему предстояло проехать триста миль.

В Вермонте было холодно, выпал ранний снег, но белые сугробы так спокойно лежали на земле, воздух был настолько чист и ясен, что мир казался погруженным в молчание серебряным карнавалом. Даже в безлунную ночь от снега, от самой земли исходило бледное сияние, и звезды были как капли замерзшей ртути.

Выйдя в шесть часов утра из здания Центрального вокзала, вслед за носильщиком, который нес его потертый кожаный чемодан, Дормэс сразу попал под грязную капель холодных помоев из кухонной раковины неба. Знаменитые небоскребы, которые он надеялся увидеть на 42-й улице, стояли мертвые, укутанные в саван рваного тумана. Что касается толпы, которая с жестоким безразличием неслась мимо – каждую секунду перед глазами мелькали новые равнодушные лица, – то провинциалу из Форта Бьюла не могло не показаться, что Нью-Йорк собрал сюда, под морозящий дождь, жителей со всего штата или что где-то случился большой пожар.

Он благоразумно намеревался воспользоваться метро – в городе вавилонских садов состоятельный захолустный житель чувствует себя нищим! Он даже вспомнил, что в Манхэттене еще не вывелись пятицентовые троллейбусы, в которых провинциал может с интересом разглядывать моряков, поэтов и женщин в экзотических шалих из степей Казахстана. Носильщику он сказал с видом многоопытного путешественника:

– Я думаю ехать троллейбусом, тут всего несколько кварталов.

Но затем, оглушенный, ошеломленный и стиснутый толпой, промокший и усталый, он укрылся в такси и тут же пожалел, что сделал это, когда увидел скользкую серую мостовую и когда его такси оказалось заклиненным в массе других машин, воняющих бензином и бешено

¹⁶ Намек на бесплодную деятельность Лиги Наций.

гудящих, чтобы выбраться из этой мешанины – из беспорядочного стада баранов-роботов, блеющих от страха механическими легкими в сто лошадиных сил.

Он мучительно колебался, прежде чем снова выйти на улицу из своего маленького отеля на Вест-Фортис, когда же наконец решился и очутился в толпе горластых продавщиц, испитых хористок и смазливых молодчиков с Бродвея, то, шагая в калошах, с зонтиком, навязанным ему Эммой, почувствовал себя настоящим Каспаром Милкетостом.

Прежде всего ему бросилось в глаза множество каких-то военизированных личностей без револьверов и винтовок, но облаченных в форму наподобие американских кавалеристов 1870 года: голубые фуражки набекрень, синие френчи, голубые с желтыми лампасами брюки, заправленные в черные резиновые краги у рядовых, а у командного состава – в сапоги из блестящей черной кожи. У каждого на правой стороне воротника имелись буквы ММ, а на левой – пятиконечная звезда. Личностей этих было много; они шагали с дерзким видом, расталкивая штатских и прокладывая себе дорогу в толпе, а на такую мелкоту, как Дормэс, взирали с холодной наглостью.

Вдруг он понял.

Эти юные кондотьеры – минитмены, личные войска Берзелиоса Уиндрипа, о которых Дормэс печатал тревожные сообщения в своей газете. Он был испуган и смущен, увидев их теперь воочию: слова превратились в грубую плоть.

За три недели до этого Уиндрип объявил, что полковник Дьюи Хэйк организовал специально на время выборной кампании общенациональную лигу уиндриповских клубов, члены которых именовали себя минитменами. Вполне возможно, что эта лига была основана еще несколько месяцев назад, так как насчитывала уже триста-четыре тысячи членов. Дормэс опасался, что ММ могут стать постоянной организацией, более страшной, чем Ку-клукс-клан.

Форма их напоминала прежнюю Америку – Америку Колд-Харбора и отрядов, дравшихся с индейцами под предводительством Майлза и Кастера. Их эмблемой, их свастикой (в этом Дормэс усмотрел коварство и мистицизм Ли Сарасона) была пятиконечная звезда, так как звезда на американском флаге была пятиконечной, в то время как, мол, звезда на советском флаге и религиозная эмблема евреев – щит Давида – были шестиконечными.

Тот факт, что советская звезда на самом деле была тоже пятиконечной, не был никем замечен в эти волнующие дни возрождения. Во всяком случае, это была удачная идея, чтобы звезда бросала вызов одновременно и евреям и большевикам, – так что намерения ММ были хорошие, даже если их символика хромала.

Но самое замечательное в этих ММ было то, что они носили не цветные рубашки, а просто белые на параде и защитные – в другое время, так что Бэз Уиндрип мог частенько громыхать по этому поводу: «Черные рубашки»? «Коричневые рубашки»? «Красные рубашки»? Может быть, еще рубашки в крапинку?!¹⁷ Все это – слинявшие мундиры европейской тирании. О нет! Минитмены – не фашисты и не коммунисты, а просто демократы – рыцари, паладины прав забытых людей... ударные отряды Свободы!»

Дормэс пообедал в китайском ресторанчике – обычная слабость, которую он разрешал себе, бывая в большом городе один, без Эммы, считавшей, что китайские блюда – это просто жареные упаковочные стружки с мучной подливкой. Он на время забыл про минитменов и с удовольствием рассматривал позолоченную деревянную резьбу, восьмиугольные фонари с нарисованными на них игрушечными китайскими крестьянами, переходящими через легкие мостики, и посетителей – двух мужчин и двух женщин, у которых был вид государственных преступников и которые весь обед сдержанно переругивались.

¹⁷ На самом деле в 30-е годы среди множества профашистских организаций в США были и такие, как «черные рубашки», «серые рубашки», «серебряные рубашки» и другие.

Направляясь к Мэдисон-сквер-гарден, где должно было состояться решающее уиндриповское собрание, Дормэс попал в водоворот. Казалось, вся страна ринулась в том же направлении. Он не мог достать такси и, пройдя в шумном людском потоке кварталов четырнадцать до Мэдисон-сквер-гарден, убедился, что толпа настроена весьма кровожадно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.